

самого дела по неудовольствию на мелкие частности его; что если бы когда и подверглось неосновательному порицанию лицо, бывшее правым, то сама литература не замедлила бы показать факт в истинном виде и дать несправедливо оскорбленному кем-нибудь полнейшее удовлетворение, и т. д. Этот благородный и справедливый взгляд проведен через всю собственно журнальную часть первого номера «Времени» с последовательностью, которой не слишком много примеров представляют наши издания и которая тем больше чести приносит новому журналу.

Сколько мы можем судить по первому номеру, «Время» расходится с «Современником» в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, «Время» так же мало намерено быть сколком с «Современника», как и с «Русского вестника». Стало быть, наш отзыв о нем не продиктован пристрастием. Мы желаем ему успеха потому, что всегда с радостью приветствовали появление каждого нового журнала, который обещал быть представителем честного и независимого мнения, как бы ни различествовало оно от нашего образа мыслей. Читатель вспомнит, как радовались мы появлению «Русской беседы», хотя вперед знали, что почти на все спорные вопросы она будет иметь воззрение, прямо противоположное нашему; читатель вспомнит, с каким сочувствием встречали мы появление «Русского вестника»¹³, с которым в спорных вопросах сходимся разве немногим больше, чем с «Русскою беседою». Ничем иным, кроме чувства, заставлявшего нас желать «Русской беседе» того успеха, которого достигла бы она при меньшем пристрастии к разным слишком непопулярным элементам, и желать «Русскому вестнику» того же успеха, которого он достиг совершенно заслуженно и с большою пользою для нашего общественного развития, — ничем иным, кроме этого чувства, не будет объяснять публика и в нынешний раз нашего желания, чтобы успел привлечь к себе ее внимание журнал, имеющий направление, достойное симпатии.

БИБЛИОГРАФИЯ

<ИЗ № 3 «СОВРЕМЕННОГО»>

Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное. Москва. 1861.

Стихи г. Плещеева стали впервые появляться в печати лет пятнадцать или шестнадцать тому назад. Как известно, тогда вдруг, ни с того, ни с сего, редакторы больших и толстых журналов воображали, что всякая строчка с кадансом* и рифмой в

* Стихотворный размер. — Ред.

конце должна компрометировать их серьезность, — и стихам, каковы бы они ни были, совершенно был загражден вход в важные ежемесячные издания. Начинающим поэтам приходилось печатать свои опыты в жалких газетах, вроде «Литературной» или «Иллюстрации». Конечно, после того, как смолкли голоса Лермонтова и Кольцова, трудно было находить отраду в виршах Грекова, Красова, Бернета и тому подобных стихотворцев¹. Впрочем — виноваты — это были уж не начинающие поэты; для них был приют в находившейся при последнем издыхании (которое продолжается — увы! и доднесь) «Библиотеке для чтения». Для поэтов получше поименованных открыты были, пожалуй, еще страницы «Москвитянина»; но здесь не особенно лестно было затесаться в соседство с гг. Михаилом Дмитриевым, Федором Глинкой, а иногда и с посмертными творениями какого-нибудь древнего Шатрова². Как бы то ни было, но в последнем журнале был единственный приют для даровитых молодых поэтов, за которыми признавались достоинства и теми журналами, которые отказывались печатать их стихи. Фета, Полонского только и можно было встретить, что в «Москвитянине». Г. Майков, которому при его первом появлении пророчили, что он чуть ли не будет заменой Пушкина, совсем приуныл на это время и смолк. Сколько помним, ни об одной книжке стихотворений, напечатанных отдельно, важные петербургские журналы не отзывались иначе, как тоном пренебрежения, временем смешанного даже с полным презрением. Иногда в темном закоулке смеси можно было встретить два-три стихотворения с очень известными именами, как, например, даже гг. Тургенева, Огарева... Но это была уступка или, как любит выражаться столь ослепительно ученый и столь помрачительно скучный г. Безобразов, компромисса, которая, пожалуй, и могла делаться для людей с некоторой репутацией, но которая была немыслима для поэтов начинающих.

Начинающие смотрят обыкновенно на свои первые стихотворения, как на нечто очень важное, возлагают на них все свои надежды, видят в них чуть не мировое значение и, конечно, почли бы жесточайшей обидой явиться со своими заветными думами, грезами и песнями в отделе разных известий, внутренних и иностранных обозрений и тому подобного скоро гибнущего журнального баласта. Они обыкновенно, не смотря на великие надежды свои, не обольщают себя ожиданием, что и с таким баластом можно выплыть на поверхность. И действительно! Как поразобирать хорошенько — обидно. Ну, неужто мои поэтические излияния, слезы и песнопения не стоят того, чтобы мне уделить всего-то одну жалкую страничку в книжке журнала, когда в нем находят чуть не сотню страниц красноречивые известия о блистательных дебютах какого-нибудь итальянского певца Мюрдини в Милане или о том, что где-нибудь в окрестностях Болоньи найден глиняный горшок, повидимому, очень древний и с древней, пови-

димому, надписью, которая так стерлась, что и разобрать ничего нельзя, да и самый древний горшок похож больше на новый, или, наконец, о том, что в германском городе Швейнфурте колбасники или сапожники устроили великолепное празднество в средневековом вкусе, ходили по улицам со знаменами в виде амуров с крыльшками, зажигали плашки и факелы, произносили речи с демосфеновским пафосом и распевали разные гимны и песни. Иной раз и такой гимн или такая песня представлялись в известии с подстрочным переводом для утешения читателей, интересующихся успехами поэзии. Ну, как же не обидно! Гимны швейнфуртских сапожников предпочитают стихотворениям Майкова, Фета, Полонского³. Как не обидно! Чем же руководились в этом случае издатели, — загадка, разрешение которой ставит совершенно втупик наши умственные способности. Разумеется, мелодии г. Фета, воспевающие тихие звездные ночи с трепетным светом луны, или утра, полные стыда и огня, «как сон новобрачной», или «бурю на небе вечернем, моря сердитого шум; бурю на море и думы, много мучительных дум; бури на море и думы, хор возрастающих дум; черную тучу за тучей, моря сердитого шум», — конечно, эти мелодии не представляли никаких указаний, никаких практических применений в сфере интересов русского общества. Ну, а певец Мордини представлял? Конечно, александрийские стихи г. Майкова, о том, как —

Во дни минувшие, дни радости блаженной,
Лились млеко и мед с божественных холмов
К долинам бархатным Аонии священной.

или о том, как ложится тень прозрачными клубами

На нивы желтые, покрытые скирдами,
На синие леса, на влажный злак лугов,

или гекзаметры о том, как он (г. Майков) срезал себе тростник у побережья шумного моря, или о том, как он разбил сад под сенью развилистых буков и во мраке прохладном статую воздвиг там Приаму, — конечно, эти александрийские стихи и гекзаметры не имели практического значения для русской жизни; ну, а этот древний глиняный горшок, найденный в окрестностях Болоньи, вероятно, имел! Конечно, баллады г. Полонского об индийском факире или о взятии Мемфиса не могли подвинуть нас ни на шаг по пути, так сказать, прогресса. Но ведь и самое слово «прогресс» не употреблялось тогда в печати, даже в прозаических статьях и рассуждениях таких практических ученых (ныне, увы! забытых), как гг. Егунов, Небольсин и другие, — это слово, столь прославившее, по случаю появления своего в стихах, драгоценные истинно гражданскому русскому сердцу имена гг. Бенедиктова, Конрада Лилиеншвагера⁴ и Розенгейма, тогда было не на особенно многих устах. Но опять-таки, отчего хоть бы, например,

пьеса Полонского «Зимний путь» или его же «Затворница» менее для нас, русских, интересны, если не полезны, чем швейнфуртские поминания переодетых амурами колбасников? Между тем русская журналистика этого времени, которое мы невольно вспомнили, вовсе не была проникнута, да и не могла, по известным более или менее всем обстоятельствам, проникнуться особенно положительным, практическим, немедленно применимым характером. Напротив, она ударялась с заметным пристрастием в туманные области эстетических мудрований, широко и пространно толковала и о таких далеких предметах, как греки и римляне, и насущные вопросы из русской жизни сводились более или менее на какую-нибудь написанную цифирными знаками диссертацию о колебаниях цен на хлеб или на так называемую современную хронику России, представлявшую для сотрудников журнала приятный и полезный труд списывания сенатских и других ведомостей. Само собой разумеется, теперь стихи никак не могут, как тогда, быть изгнаны из журналов. Прогресс, о котором мы так гордо восклицаем, в настоящее время очень приятно звучит и в них то в середине, то в конце строчки, то в начале, то в заключении пьесы. Но тогда! Удивительно, странно, непостижимо! Повторяем, поэты, успевшие приобрести себе некоторую известность, поэты, о которых говорил с сочувствием и похвалой Белинский, могли выдержать это гонение, притаиться на время совсем или играть в прятки в «Москвитяине»; но каково же было бедным начинающим! Им оставалась в качестве пристанища одна «Иллюстрация», печатавшая без разбору все, что только попадалось к ней в руки: стихи или проза, дичь или действительно что-нибудь порядочное (последнее очень редко). Время было унылое для всех этих юношей, у которых, говоря поэтическим слогом, пламенеют на устах страстные поцелуи музыки. Жертвою этого времени пали многие приятные певцы, вроде гг. Вердеревского, фон Лизандера и других. Сердце обливается у нас кровью, когда мы подумаем, какая судьба ждала бы гг. Платона Кускова Случевского⁵, Захарию Тура и всю эту плеяду, сияющую таким ярким светом на небе новейшего периода русской поэзии, если бы они имели несчастье явиться в то время. Не сдобровать бы им тогда. Едва ли загорелся бы тогда таким чудным метеором и г. Розенгейм. Ведь он не писал бы тогда звучными ямбами, дактилями и амфибрахиями об общественных вопросах, о старообрядстве, об управлении главного общества железных дорог и пр., а воспевал бы в невинности души своей луну и деву, вроде той, о которой говорится в его стихах (очень чувствительно), как у ней билась

Под капотиком груди волна.

В это-то время появилась небольшая книжка стихотворений г. Плещеева.

Ее постигла та же участь; с таким же пренебрежением отозвались об ней лучшие журналы. Зачем г. Плещеев говорит в ней о любви к человечеству, о его страданиях и будущих идеалах, о светлых надеждах? Зачем переводит стихи Гейне? Это почему-то не понравилось серьезным рецензентам, и они говорили о г. Плещееве чуть ли не с такой же строгой важностью, как о человеке, принесшем решительный вред литературе. Дико вспомнить теперь об этом. Неужто благородные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них? Да и когда же бывает это можно и позволительно? Если у г. Плещеева не было той поэтической силы, которая невольно покоряет себе чужую мысль и чувства, то нельзя же было видеть в стихах его фразы, справедливости которых не верит он сам. Что все в этих стихотворениях было вполне искренно и сказалось от души, — едва ли кто-нибудь мог усомниться в этом и тогда. Или не понравилось юношеское увлечение поэта, неопределенность его стремлений и надежд? Но была ли возможность выражать эти надежды, эти стремления точнее и определеннее, — об этом никто не хотел вспомнить. Кажется, особенной точности и ясности в выражении желаний не было в то время и нигде в литературе. Разумеется, говорить прямо, высказывать все ясно — не только проще, но и полезнее; но действительно ли все мы так высоко и безукоризненно развиты, что нам не нужно слышать искреннего голоса, заступающегося, хотя бы и в общих чертах, за лучшую сторону нашей природы, до сих пор мало торжествовавшую? «Земля иссушена и уныла», говорится в эпиграфе к первому стихотворению первой книжки г. Плещеева: «но она вновь позеленеет. Дыхание зла не вечно будет проходить по ней, как дух пополающий». Конечно, и мысль, и выражение этих слов слишком общи, и написать на эту тему несколько стихотворений — не значит сказать что-нибудь новое; но все ли успело не только тогда, но и теперь так устареть для нашего общества, и не нужно ли, и не будет ли долго нужно повторять и толковать простейшие и неоспоримейшие истины и доказывать, что белое бело, а не черно, а черное черно, а не бело? Есть много самых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств, о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и везде нужно, не говоря уже о нашем несформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает.

Мы очень рады, что в последнем издании стихотворений г. Плещеева встретились с лучшими пьесами из его первой

книжки, которых он не поместил в предпоследнем издании, вероятно, вследствие тех неблагоприятных отзывов, какими приветствовали ее при первом появлении тогдашние журналы. Мы жалеем только, что он не дополнил их некоторыми стихами, которые, сколько нам помнится, были уже раз в печати.

С особенным удовольствием перечитали мы прекрасный гимн, известный нам наизусть, — гимн, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной деятельности г. Плещеева:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать;
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам
И за него снесем гоненье, —
Против озлобленным врагам!

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;
И верьте, голос благородной
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил;
Вперед, вперед и без возврата, —
Что б рок вдали нам ни сулил!

Сколько помним, прежние рецензенты г. Плещеева были особенно недовольны стихотворением или отрывком из поэмы «Сон», к которому были взяты эпиграфом слова Ламеннэ, приведенные нами выше. В этом отрывке, вероятно, от лица героя, который напоминает лермонтовского «Пророка», рассказывается,

как он, усталый и истерзанный тоской, прилет отдохнуть под дерево, и ему предстала в видении богиня, избравшая его пророком. И вот что услышал он от нее:

Страданием и тоской твоя томится грудь,
А пред тобой лежит еще далекий путь.

Скажу ль я, что тебя в твоей отчизне ждет?
Подымет на тебя камень твой народ,

За то, что обвинишь могучим словом ты
Рабов греха, рабов постыдной суеты!

За то, что возвестишь ты мщенья грозный час
Тому, кто в тине зла и праздности погряз,

Чье сердце не смущал гонимых братьев стон,
Кому законом был — отцов его закон!

Но не страшися их! и знай, что я с тобой,
И камни пролетят над гордой головой.

В цепях ли будешь ты — не унывай и верь,
Я отопру сама темницы смрадной двери.

И снова ты пойдешь, избранный мной левит,
И в мире голос твой недаром прозвучит.

Зерно любви в сердца глубоко западет;
Придет пора, и даст оно роскошный плод.

И человеку той поры недолго ждать.
Недолго будет он томиться и страдать.

Воскреснет к жизни мир... Смотри, уж правды луч
Прозревшим племенам сверкает из-за туч!

Иди же, веры полн... И на груди моей
Ты скоро отдохнешь от муки и скорбей.

Стихотворение заключается следующими стихами пророка:

Мой падший дух восстал, и утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь.

Мотив этой пьесы точно так же, как и мотив стихотворения «Вперед», проходит более или менее внятно по всем собственно оригинальным стихотворениям г. Плещеева, которые, впрочем, составляют не более одной трети изданного им теперь собрания. Пафос, которым одушевлен выписанный нами юношеский гимн, большею частью переходит в элегическое настроение. Г. Плещеев с сочувственною грустью останавливается перед темными явлениями жизни и, чувствуя прочность зла и свое бессилие бороться с ним, часто молит бога об одном: чтобы жар его сердца «не засыпало пеплом мертвящее сомнение». Глубокая искренность этих теплых слов, любовь к истине и к благу ближних, вызывав-

шие эти элегические стихи, не может быть подвергнута ни малейшему сомнению теперь, когда г. Плещеев после длинного, чуть не десятилетнего перерыва своей деятельности⁶ явился в литературе с тем же настроением, с каким мы видели его на первых порах его поэтической деятельности. Те же стремления, ту же грусть бессилия, столь понятную в устах людей поколения, к которому принадлежит г. Плещеев, увидели мы опять в его стихах:

Дни скорби и тревог, дни горького сомненья,
Тоска болезненных и безотрадных дум,
Когда ж минуете? Иль тщетно возрожденья
Так страстно сердце ждет, так сильно жаждет ум?

Не вижу я вокруг отрадного рассвета!
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор.
Исчезали без следа мои молодые лета,
Как в зимних небесах сверкнувший метеор.

Как мало радостей они мне подарили,
Как скоро светлые рассеялись мечты;
Морозы ранние безжалостно побили
Беспечной юности любимые цветы.

И чистых помыслов и жарких упований
На жизненном пути растратил много я;
Но средь неравных битв, средь тяжких испытаний
Что ж обрела взамен всех грез душа моя?

Увы! лишь жалкое в себе разуверенье
Да убеждение в бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себе пощады от судьбы.

И даже ты моим призывам изменила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привета братского живительная сила
Мне не врачует дух в тревогах бытия.

Но пусть ничем душа больная не согрета,
А с жизнью все-таки расстаться было б жаль,
И хоть не вижу я отрадного рассвета,
Еще невольно взор с надеждой смотрит в даль.

Эта надежда слышится подчас довольно вятно в некоторых последних произведениях г. Плещеева. Справедлива ли такая надежда, бог знает. По временам он обличает сознание, что те слишком обобщенные мысли и чувства, которые он проводит в своих стихах, требуют при новых условиях времени более определенного и прямого смысла для жизни.

За г. Плещеевым осталась одна сила, — сила призыва к честному служению обществу и ближним. Смысл лучшей стороны деятельности г. Плещеева яснее всего выражается стихотворением его, напечатанным на 148 стр. нового издания; от большей

части его оригинальных пьес веет на читателя тем добрым чувством, тем здравым пониманием обязанностей и цели жизни, которые высказаны в этих стихах:

Перед тобой лежит широкий, новый путь.
Прими же мой привет, не громкий, но сердечный;
Да будет, как была, твоя согрета грудь
Любовью к ближнему, любовью к правде вечной.

Да не утратишь ты в борьбе со злом упорной
Всего, чем ныне так душа твоя полна,
И веры и любви светильник животворный
Да не зальет в тебе житейская волна.

Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;
Иди, храня в душе свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал.

И если в старости, в раздумья час печальный,
Ты скажешь: в мире я оставил добрый след,
И встретить я могу спокойно миг прощальный...
Ты будешь счастлив, друг; иного счастья нет!

В нескольких стихотворениях г. Плещеева, в которых он обращается к реализму, от стремления и надежд, выражаемых в общих чертах, переходит к изображениям действительности с ее прозаическими и мелкими подробностями, — в этих пьесах нет ни той силы, ни той глубины чувства, которые мы замечаем в его произведениях. Элегические стихи его не перестраиваются на сатирический лад, у него нет ни негодования, без которого сатира невозможна, ни того наблюдательного взгляда, который умеет подмечать смешные и вредные стороны действительности, ни того изобразительного таланта, который умеет резко и рельефно выставлять такие черты.

Мы уже сказали, что переводы занимают две трети места в его книге, и одна из этих третей посвящена переводам из Гейне. И эти переводы, как упомянуто выше, не были при первом появлении пощажены критикой. Кажется, и этот труд был причислен к занятиям, представляющим бесполезную трату времени. Положим, г. Плещеев передавал в своих стихах лишь одну сторону немецкого поэта, именно те его произведения, которые не касаются прямо общественных интересов, но мы уже видели, что талант г. Плещеева не представляет некоторых сторон, существенно необходимых для передачи социальных стихотворений Гейне, которые все почти полны чрезвычайного юмора, и в выражении, и в самых образах. Понятно, что г. Плещеев брался именно за то, что более всего поддавалось его таланту. Нам кажется, что и собственные его стихотворения в юмористическом тоне, о которых мы упомянули без особенной похвалы, вызваны не столько собственно внутренним чувством поэта, сколько общим направлением всей современной русской литературы к реализму.

Самая большая пьеса, переведенная г. Плещеевым из Гейне, это — «Вильям Ратклифф», одно из первых, почти детских произведений автора «Книги песен»⁷. Сама по себе эта трагедия или драматическая баллада, как называет ее сам автор, не замечательна; в ней мы видим Гейне еще чистым романтиком со всеми романтическими дикостями. Но в деятельности немецкого поэта на нее нельзя не обратить внимание. На ней заметно сильное влияние «Разбойников» Шиллера, и уже переход к новой, реальной поэзии чувствуется довольно ясно. Гейне говорит, что первый полуромантический период его поэзии завершается этою драмой, что она служит, так сказать, последним словом этого периода; «это слово, — говорит он, — сделалось впоследствии лозунгом, от которого прояснились черты бедняка и вытягивались жирные физиономии сынов счастья. У очага почтенного Тома, идеального разбойника из класса *partageux* *, уже слышится запах этого великого вопроса о супе, за который принялись теперь такое множество дрянных поваров, и который со дня на день все больше и больше перекипает. Счастливец поэт! он видит дубовые рощи, таящиеся в оболочке жолудя; он ведет разговор с поколениями, которые еще не зарождались в утробе матерей. Эти поколения нашептывают ему свои тайны, и он передает их потом громко среди народной площади. Но голос его гложет в нуждах дня, и не многие слушают его, и никто не понимает. Фридрих Шлегель назвал историка пророком прошедшего. Едва ли не еще справедливее назвать поэта историком будущего»⁸.

Гейне совершенно прав, говоря это о своей драме, почти в самом конце своей деятельности, которая действительно развилась в свою очередь, как дубовая роща из жолудя, из этой драмы. Но «Вильям Ратклифф», взятый отдельно, без связи с остальными произведениями поэта, лишается большей части своего интереса, и становится очень понятно, почему он обратил на себя при первом появлении, вместе с другою юношескою драмою Гейне «Альманзором», так мало внимания.

Перевод г. Плещеева верен и хорош, и для русских любителей Гейне будет любопытен, как черта из биографии автора «Путевых картин»; он может, пожалуй, быть прочитан и как образец болезненного романтизма, охватывавшего всю немецкую поэзию в то время, когда выступал на литературное поприще Гейне. Но достоинства положительного у этой драмы решительно нет, и — признаемся — мы думаем, что у того же Гейне г. Плещеев мог бы взять что-либо более интересное для перевода.

Из остальных стихотворений, переведенных из этого поэта г. Плещеевым, большая часть взята из «*Buch der Lieder*» и «*Neue Gedichte*» **. Перевод этот принадлежит к лучшим на русском

* Сторонник уравнительного распределения имущества. — *Ред.*

** «Книга песен» и «Новые стихотворения». — *Ред.*

языке переводам этих прелестных песен. Некоторые из них стали всем известны с первого появления в печати. И действительно, едва ли можно передать лучше, чем передал г. Плещеев, стихотворения «Возьми барабан и не бойся», «Речная лилия», «Ветер осенний колышет» и др.

Кроме Гейне, г. Плещеев переводил и переводит и других немецких поэтов. В его книжке есть стихотворения и даровитейшего из немецких романтических лириков Эйхендорфа и из бездарнейшего католического романтика Оскара Редвица, отличившегося в последнее время стихотворением на геройство неаполитанской королевы в Газете, за что и получил, как писали в газетах, какое-то подавание не то от баварского, не то от венского двора. Г. Плещеев переводит и таких действительно замечательных поэтов, как Фрейлиграт и Мориц Гартман, и таких слабых, хотя известных в Германии стихотворцев, как Роберт Пруц и Карл Бек. Надо правду сказать, теперь нетрудно добиться в немецкой поэзии некоторой известности и даже получить авторитет. Кажется, никогда еще немецкая литература не была так бедна поэзией, как в последнее время. Тот самый Роберт Пруц, из которого г. Плещеев перевел несколько пьес, издал недавно исторический очерк изящной немецкой литературы с 1848 года. Поэзия за это время представляет в Германии самое плачевное зрелище. Все, что сколько-нибудь превышает уровень посредственности, принадлежит поэтам уже не нового поколения, поэтам, не молодым и оканчивающим свое литературное поприще. Хотя в книге Пруца и есть целая глава, посвященная, как он называет их, поэтическим подросткам, но на эти подростки плохая надежда. Единственным исключением из ныне пишущих немецких поэтов можно назвать Морица Гартмана, и почти все, что перевел из этого поэта г. Плещеев, стоит внимания. Не таковы его переводы из Бека, Пруца и Анастасия Грюна⁹. Переводы из этих поэтов занимают, правда, самое незначительное место в книжке г. Плещеева, но было бы приятнее, если б и этого места не было им уделено и г. Плещеев обратил свое внимание на что-нибудь иное, если не в новой, то в прежней немецкой литературе.

Из прежних поэтов мы находим в его книжке прекрасный перевод одного очень хорошего, хотя и мало известного стихотворения Гете «Молитва» и несколько романтическую песню Рюккерта «Странник». Г. Плещеев — сам немножко романтик и, вероятно, потому взял у Рюккерта только одну эту пьесу. Вообще мы редко можем упрекнуть г. Плещеева в том, чтобы он брался за что-либо несродное его таланту.

Фрейлиграт представляет по таланту и по самому роду своих произведений совершенную противоположность г. Плещееву. Это поэт образов ярких и блестящих; но у Фрейлиграта есть две-

три пьесы в том элегическом рефлексивном тоне, который так удаётся нашему поэту, и г. Плещеев взял лучшую из этих пьес и перевел, не увлекаясь роскошью других.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

И сторожи, чтоб сердце свято
Любовь хранило, берегло,
Пока его другое любит
И неизменно и тепло.

Тем, чья душа тебе открыта,
О дай им больше, больше дай!
Чтоб каждый миг дарил им счастье —
Ни одного не отравляй!

И сторожи, чтоб слов обидных
Порой язык не произнес;
О боже! он сказал без злобы,
А друга взор уж полон слез!

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

Вот ты стоишь над ней уныло,
На грудь поникла голова.
Все, что любил — навек сокрыла
Густая, влажная трава,

Ты говоришь: «хоть на мгновенье
Взгляни, изныла грудь моя!
Прости язвительное слово,
Его сказал без злобы я!»

Но друг не видит и не слышит,
В твои объятья не спешит,
С улыбкой кроткою, как прежде,
«Прощаю все» не говорит!

Да! ты прощен... но много, много
Твоя язвительная речь
Мгновений другу отравила,
Пока успел он в землю лечь.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

Для чего перевел г. Плещеев пьесу Анастасия Грюна «Старый комедиант», понять довольно трудно. Это все равно, как если бы Фрейлиграт вздумал переводить с русского *Tendenz-Gedichte* * г. Розенгейма. Грюн ни на волос не лучше. Это — холод-

* Стихотворения с тенденцией. — Ред.

ный, изысканный ритор без всякого поэтического чутья; его стихотворения похожи на рифмованные журнальные статьи и фельетоны, и если он прославился, то только потому, что принадлежал к австрийским поэтам, вроде известного Якова Хама¹⁰, с таким же милым и богобоязненным направлением. Написать, что не только на всей земле, но даже и в самой Австрии не наступали еще торжества правды и свободы, как это сделал Грюн в своих знаменитых «Прогулках венского поэта», было уже страшнейшим героизмом, неслыханным либерализмом, которого тем паче нельзя было ожидать от титулованного потомка древней имперской фамилии: Грюн, как известно, только псевдоним, а настоящая фамилия поэта — граф фон Ауэрсберг. Смелость его несколько не превосходит новейших либеральных тенденций гг. Бенедиктова, Розенгейма и др. Если же либеральный немецкий поэт стал известен и вне своего отечества, то этому он обязан только тому, что немецкий язык более распространен, чем тот, на котором призывает человечество к прогрессу г. Розенгейм.

Совсем иное дело Мориц Гартман, хотя и он родился австрийским подданным. Не говоря уже о таланте, которым едва ли равняется с ним кто-нибудь из немецких поэтов нового поколения, самое направление его не может быть и сравниваемо с графскими тенденциями венского поэта. То, что перевел из него г. Плещеев, как мы уже сказали, очень удалось, но только за исключением несколько темной и странной датской баллады про короля Альфреда. У Гартмана вы редко встретите что-нибудь сочиненное, насильно придуманное, как это часто случается даже у лучших поэтов этого направления; напротив, все у него прочувствовано, всюду слышен голос человека, глубоко проникнутого убеждением. Его произведения явились потому, что он не мог не высказаться, тогда как у многих других немецких поэтов политической школы вы постоянно замечаете, что им хочется сказать то, что не вошло еще в них органически. Чтобы привести пример, вспомним Пруца. Он считается одним из радикальнейших немецких поэтов последнего времени. Обскуранты гремели и отчасти гремят и теперь против него жестокими проклятиями. Но как вам нравится, например, следующая черта его радикализма! В своем историческом обозрении «Немецкая литература с 1848 года» он обращается с упреком к Морицу Гартману и к Альфреду Мейснеру¹¹ за то, что они говорят с сочувствием о чехах и выражают свое уважение к этой угнетенной национальности. Такие радикалы только и могут быть, что у немцев.

Г. Плещеев переводит не одних немецких поэтов. В его книге есть несколько очень хороших переводов с польского и малороссийского. Особенно нравятся нам три так называемые «Сельские песни» (с польского).

Начала народного хозяйства. Руководство для учащихся и для деловых людей *Вильгельма Рошера*. Перевод И. Бабста¹ Т. I. Отделение первое. Москва. 1860 г.

Рошер пользуется справедливою знаменитостью за громадное количество знания, накопленного в его книгах и, вероятно, даже в его голове. Относительно соразмерности накопленных в его голове знаний с количеством их, накопленным в его книгах, мы выразили вероятность, а не совершенную уверенность потому, что в Германии очень распространен между учеными (и даже не учеными) писателями метод приготовления книг, чрезвычайно полезный для читающего, но ослабляющий возможность судить по книге о действительной учености автора. Человек, вздумавший написать книгу, покупает несколько стоп писчей бумаги, разрезывает листы ее на четвертинки, осьмушки или более мелкие куски (это зависит от мелкости или крупности его почерка, от степени его расчетливости и, наконец, от его денежных средств: бумага в Германии дешева, но у иного ученого в Германии, даже и знаменитого, все-таки нехватает денег на покупку бумаги в избыточном количестве). Совершив такой акт, он ставит себе принципом читать книги не иначе, как делая из них выписки, — от двух до пяти строк на лоскуток. Употребляя часа три в день на это занятие, можно в год изготовить не менее 20 000 лоскутков, покрытых всевозможными именами, цифрами, курьезностями, относящимися к предмету, по которому предполагает он написать книгу. От времени до времени лоскутки пересматриваются и приводятся в систематический порядок. Когда собирателю покажется, наконец, что лоскутков набралось довольно, он принимается писать книгу, в которой собственную приписку составляет почти только перечень содержания лоскутков, распадающихся на группы, служащие фонами для глав и параграфов, — эта приписка занимает от $\frac{1}{10}$ до $\frac{1}{5}$, а если ученый уж слишком самолюбив и плодовит в собственных мыслях, то пожалуй, и до $\frac{1}{3}$ части всего числа страниц, какое будет в книге; остальную громадную половину страниц занимают бесчисленные мелочи, переписанные с лоскутков. Против методы — сочинять книги таким образом — мы не имеем ровно ничего: кто занимается такою штукою, бывает тружеником, во всяком случае не бесполезным для науки; заметить можно было бы лишь одно: всякое дело приносит наибольший полезный результат тогда, когда употребляется для той цели, для которой собственно и должно служить: листочки, раскладываемые по порядку, сами собою так и образуют словарь; если у занимающегося такими выписками человека достает терпения вести работу до того, чтобы она приобрела полноту, требующуюся для словаря, и достает такта, чтобы ви-

деть пригодность этой работы именно для словаря, а не для чего-нибудь иного, — результат работы выходит превосходный. Так произошел словарь Бэля², до сих пор остающийся драгоценным источником справок и, что еще любопытнее, представляющий собою самое интересное чтение.

Не совсем то бывает, если трудящийся над листочками сочиняет трактат о науке вместо того, чтобы сделать словарь. Словарь Бэля читается легко, потому что предметы быстро сменяются там один другим в чрезвычайном разнообразии: за персидским царем следует английский поэт, за английским поэтом итальянский богослов; в трактате, набитом такими же мелочами, мелочи эти тянутся на сотни страниц все об одном и том же и изнуряют терпенье своей монотонностью. Кроме того, словарь не ужасается достигать размеров, от которых самому огромному трактату «как до звезды небесной далеко»; потому Бэль не имел надобности выпускать весь живой сок из собранных им фактов, мог передавать их с интересною для чтения обстоятельностью; а при укладке их в трактат из них выколачивается все живое, чтобы сбить их остов в тесные для них размеры книги. От этого для читателя новая скука; сухость выходит истинно аравийская. Но и этого еще мало: как ни сбивай, как ни урезывай записанные на листочках факты, все еще сохраняют они такую громоздкость, что не влезают в трактат; да и согласитесь сами, нельзя же писать в систематический трактат все подряд, без всякого разбора. Сочинитель принужден делать выборку из своих «коллектаней»*, отлагает в сторону половину листочков, если не больше, и — утрачивается полнота, какая была в них. Но почти всегда и до этой выборки полнота в них была, если позволительно так выразиться, очень неполная; сочинитель не имел в виду исчерпать весь запас фактов, когда составлял «коллектаней» с целью сделать из них не словарь, а книгу; ему хотелось только набрать очень много, чтобы достаточно было «фактических оснований» для его трактата, а не то, чтобы не осталось ничего такого, что не занесено было бы в его листки. Стало быть, систематический трактат, сочиненный по листочному методу, уступаая словарю занимательностью и живостью, далеко уступает ему и в существенном достоинстве книг подобного рода, уступает ему фактической полнотою.

Словом сказать, результат выходит тот же, как если бы сапожник с своим шилом вздумал шить не сапоги, а сюртуки: в его изделии оказалось бы бесчисленное множество прорех, и форма изделия вышла бы чрезвычайно неуклюжая.

Этот грех не мог не случиться и с книгою Рошера. О сухости изложения мы не станем говорить: это свойство книги почувствует каждый, как только развернет ее. Посмотрим на полноту.

* Kollektaneen — собрание выписок из книг, заметок (нем. яз.). — Ред.

Вот — книга раскрылась на 304 стр., и мы видим § 131. В нем говорится, что цена «многих сырых произведений возвышается с каждым успехом хозяйства». В русской печати систематическим развитием этой мысли занято 25 строк (более крупного шрифта); за ними следуют набитые фактами и цифрами примечания на 122 строках (более мелкого шрифта). Чего-чего только тут нет; довольно сказать, что на этих 122 строках не менее 28 ссылок на разные книги с цитированием томов и страниц; и каких книг тут не цитруется! Есть тут: «Мелиш, Путешествие по Соединенным Штатам, т. 2-й, стр. 57; Варрон, Сельское хозяйство, кн. 3, гл. 12; Колумелла, Сельское хозяйство, кн. 8, гл. 10; Плиний, Естественная история, кн. 10, гл. 43; Полибий, История, кн. 34, гл. 8, § 7; Робертсон, Письма о Южной Америке, т. 2, стр. 294; Паллас, Путешествие в Сибирь, т. 3, стр. 12; Ример (или Раймер, или Рюмер, или Реймер, или Римé, не знаем как выговорить Rumer, потому что не знаем, какой нации этот господин: англичанин, датчанин, голландец, француз или кто другой, только знаем, что заглавие книги у него латинское), Союзы: том или книга (не знаем) 19, стр. 511; Подевиль, Сельскохозяйственные опыты, т. 2, стр. 15». — Словом сказать, такая коллекция, что постороннего человека и то зависть берет; а ссылок на Адама Смита, Прайса, Тука, Потера, Рау, Чибрарио, Андерсона и т. д. мы уже и не приводим, потому что эти ссылки мог бы сделать и человек, не имевший в своем распоряжении сотни тысяч лоскутков³.

Прекрасно; но где же, однако, фактическая полнота? Поднимаются с успехами сельского хозяйства цены «многих сырых произведений», стало быть, не всех? ну, поднимается ли цена фруктов и ягод? Об этом ничего нет. Оно, если хотите, и не нужно этого: из общих принципов само собою следует, что цена фруктов и ягод, растущих дико, поднимается, а цена возделываемых искусством поднимается или падает, смотря по успехам огородничества и садоводства сравнительно с размножением народа. Разумеется, можно было обойтись в систематическом трактате и без этих разъяснений, совершенно излишних по изложению общего правила. Но в таком случае зачем же нужно было довольно длинное разъяснение о «рыбе в пресных водах»? Ведь дело и о ней также ясно для познакомившегося с общим правилом. По мере того, как населяется страна, цена речной рыбы возвышается до тех пор, как начнут охранять размножение речной рыбы и помогать ему искусственными мерами; а тогда возвышение или понижение цены начинает зависеть от достоинства этих мер и от успехов искусственного размножения речной рыбы. Это ясно само собою; к чему же было набирать факты об этом? Они набраны просто для курьеза, — пусть-де читатель знает, что на Эльбе и на Рейне лососина была прежде так дешева, что слуги договаривались, чтобы хозяин кормил их лососиною не больше

двух раз в неделю, а то хозяин готов был закормить их этим дешевым провиантом. Очень любопытный факт, спора нет. Но об ягодах, вероятно, можно было бы собрать курьезы еще любопытнее. Или вот, например, тоже любопытно, что не дальше как лет 20 тому назад в Камышине, в Красном Яре, в селе Быкове кормили коров и свиней арбузами, которых не всегда вдоволь там ест теперь и сама хозяйка, еще недавно кормившая ими свою скотину. Не хотите ли познакомиться и с курьезами и из истории дичи? Извольте (Рошер, русский перевод, стр. 305).

В России жареных лосей, зайцев и диких уток едят даже самые низшие классы народа (Kohl, Reise in Russland, II стр. 386). Дичь же в Петербурге с Петра Великого до Александра поднялась в цене, как 1: 6—7 (Storch, Handbuch 1, стр. 368)⁴. В Петербурге в 1807 году фунт баранины, говядины или телятины стоил 4—6, фунт дичи — 3—4½ центов (Melih, Travels through the U. St, II, p. 57). Чем более охота охраняется, тем дольше, конечно, продолжается прежняя дешевизна дичи, особенно, когда бедным становится невыгодным готовить ее для себя вследствие худобы дичи. Новейшие народы редко думали о искусственном разведении дичи; римляне откармливали главным образом только зайцев, дроздов и пр. (Varro, R. R., III, 12; Columella R. R., VIII, 10). Поэтому цены на дичь были громадные, пример тому приводит Plinius, H. N., X, 43, из времен императоров. Напротив, еще Полибий уверяет, что в его время в Лузитании дичь получалась почти даром (XXXIV, 8 и 7).

Очень благодарны за сообщение нам всего этого; только что же из всего этого следует? Ровно ничего не следует. К чему это служит в книге Рошера? Ровно ни к чему, кроме обогащения ума фактами, совершенно излишними для разъяснения вопроса, лишними по той причине, что и вопроса тут ровно никакого нет.

Так. Но если ни для чего не нужны подробности эти и бесчисленное множество других мелочных фактов в книге самого Рошера, то мало ли для чего могут они пригодиться читателю, крут мыслей которого ведь не весь же будет ограничиваться чтением Рошера. Положим, например, что случилось вам вздумать: вот теперь в Беловежской пуше нарочно сохраняются, как зоологическая и охотническая редкость, зубры; что же, бывали ли когда-нибудь другие примеры искусственного охранения диких животных, любопытных для ученого или драгоценных для охотника? Если вы не читали Рошера, вот вы и не знаете ничего об этом; а читали вы Рошера, так вот и знаете, что римляне не только охраняли некоторые породы дичи, а даже «откармливали зайцев, дроздов и пр.» Или вдруг вам вздумалось: а почему продается говядина в Северо-Американских Штатах? Почему она продается теперь в Северо-Американских Штатах, этого из Рошера вы не узнаете; но то узнаете, что в 1807 году в каком-то северо-американском городе Питтсбурге «фунт баранины, говядины или телятины стоил 4—6 центов». Если хотите, можете успокоиться на этом сведении; а если вы одарены пытливым умом вроде Кифы Мокиевича⁵, то является у вас новый вопрос: что же это

значит, что в 1807 году в Питтсбурге телятина продавалась по одной цене с говядиной, тогда как дело известное каждому, что везде в цивилизованных странах фунт телятины продается гораздо дороже, чем фунт говядины? Почему Питтсбург в 1807 году служил исключением из этого правила? Уж не случилось ли там такой штуки, что, народивши множество телят, коровы почти все передохли вместе с быками, так что в говядине оказался недостаток и она вздорожала, а в телятине излишек и она подешевела? Или, быть может, дешевизна телятины сравнительно с говядиной была в Питтсбурге не явлением временным, относящимся к одному году, а фактом постоянным? В таком случае не следует ли объяснять его какой-нибудь особенностью питтсбургских обычаев относительно телятины? Не следует ли предположить, что дешевизна телятины в Питтсбурге имеет своим основанием отвращение значительной части питтсбургского населения от употребления телятины? Читатель согласится, что такое объяснение очень правдоподобно; если же принять его, то не открывается ли новая поразительная черта того сходства северо-американцев с великоруссами, о котором так часто читаешь такие основательные замечания? А если так, то каким образом объяснить это совпадение обычаев? Неужели простою случайностью? Но такой взгляд недостоин науки; не следует ли скорее видеть в этой дешевизне телятины между питтсбургцами следствия славянского элемента на северо-американский и даже, быть может, доказательство существования древних славянских поселений в бассейне реки Миссисипи? Радужно предлагаем это новое драгоценное соображение в полную собственность г. В. Ламанскому и вперед уверены, что он с признательностью воспользуется им⁶.

Но разумеется, где без разбора приводится бесчисленное количество цитат, цифр, имен и всякого рода фактов, там необходимо находится и очень много важного среди бездны неважного, много нужного среди бесполезного; и каково бы ни было логическое достоинство книги, богатой фактами, она непременно будет иметь очень большую цену как сборник материалов. К сочинению Рошера прилагается тот политико-экономический вывод, что если трудолюбие велико, продукт все-таки получится довольно значительный, хотя бы метод производства и был сам по себе неудовлетворителен. Тут можно бывает жалеть лишь о том, зачем подобное трудолюбие не соединилось в трудящемся с столь же замечательною логическою силою. Мы почли нужным откровенно высказать свое мнение о научном достоинстве трудов Рошера только потому, что очень многие имеют преувеличенное понятие о их значении в науке. Что же касается до вопроса, полезна ли книга, начало русского перевода которой теперь напечатано, тут нет никакого сомнения: книга эта очень полезна или чрезвычайно полезна, или необыкновенно полезна, или в каком хотите смысле

и в какой хотите степени называйте ее полезною. Мы ни в чем не противоречим. Сведений в ней такая гибель, что если успеешь усвоить себе хотя десятую часть их, будешь ученейшим человеком.

Но, скажут нам, вы хвалите только трудолюбие, с которым Рошер собирал факты, а самую систему Рошера не превозносите; вы удивляетесь его начитанности и прилежанию, а достоинств его как мыслителя вы не упоминаете: в тоне вашего отзыва о нем есть даже какое-то презрение, которое в отношении к столь знаменитому мыслителю становится неприличною дерзостью. Оправдайтесь в этом преступлении. Докажите, что вы имеете право говорить о нем таким тоном. Ведь вы до сих пор толковали только о форме его книги. Положим, что форма неуклюжа, положим, что наряду с делом набито в ней много пустого, лишнего, что из этого? Форма в ученом сочинении — вещь второстепенная. Вы разбирайте не форму, а содержание.

Извольте; почему не разобрать? Если бы нужно было нам самим извлекать содержание из ученейшего труда Рошера, мы, пожалуй, и не справились бы с такою задачею: поискали бы содержания, да, может статься, и не нашли бы. Но почтенный переводчик помогает нам своим предисловием. Чтобы не пропустить ничего важного, мы пересмотрим все в предисловии. Вот начало.

Передавая на суд русской публики перевод одного из замечательнейших творений современной экономической литературы, я позволяю себе вместо предисловия поместить несколько страниц из моей статьи, помещенной в «Русском вестнике» за 1856 год¹. «Вопрос, — говорит Рошер в своей вступительной лекции, читанной им в Лейпцигском университете, — каким образом лучше всего содействовать развитию народного хозяйства, останется всегда главным вопросом в политической экономии; но он не составляет еще главной ее задачи. Наука народного хозяйства — это ветвь наук политических, и задача ее — исследовать известные стороны человеческой жизни и законы, ими управляющие. Цель ее — изложить, что передумали народы, чего хотели, к чему стремились и чего достигли каждый в своем хозяйстве; наконец, почему они стремились и почему именно этого достигли. Но такое изложение невозможно без тесной связи с другими науками, рассматривающими остальные стороны народной жизни, — без истории права, государственных учреждений, истории литературы и т. д.».

Скажем откровенно: вступительной лекции, читанной Рошером в Лейпцигском университете, нам не удалось прочесть, и о том, что говорил, а чего не говорил в ней Рошер, мы должны судить, основываясь исключительно на свидетельстве г. Бабста. И надобно прибавить еще вот что: рассказывай нам такие вещи о вступительной лекции Рошера г. Безобразов или Григорий Данилевский, мы сильно поусомнились бы. Но свидетелем является г. Бабст, и мы верим. И — господи, твоя воля! — чему мы принуждены верить! «Вопрос, каким образом лучше всего содействовать развитию народного хозяйства, не составляет еще главной задачи политической экономии», но «останется всегда

главным вопросом в ней». Ну, скажите на милость, как же это? Главный вопрос не есть главная задача или главная задача не есть главный вопрос? Ведь с такою ясностью понятий мы могли бы прочесть вступительную лекцию к любой науке, например, хоть к астрономии: «исследовать законы движения тел небесных составляет главную задачу астрономии, но главный вопрос астрономии другой», — вероятно, вопрос о том, знали ли греки, что луна имеет форму не шара, а груши. Или из анатомии: «главная задача анатомии — исследовать состав человеческого организма, но главный вопрос в ней не то», а, вероятно, то, каким манером Аристотель мог не заметить, что, кроме жил, находятся в человеческом теле нервы. Или вступительная лекция из ботаники: «главная задача ботаники — исследование растительного организма, но главный вопрос в ней не то», а то, какие чувства овладели Христофором Колумбом, когда он увидел американскую растительность, столь различную от европейской. Извините меня, но мне кажется, что это просто-напросто путаница. Посмотрим, однако, — что дальше.

В чем главный вопрос политической экономии, Рошер сказал. В чем задача ее, выходит у него уже не так определенно: «исследовать известные стороны человеческой жизни и законы, ею управляющие»; хорошо, положим, что известные стороны жизни и известные законы; примем, пожалуй, на себя смелость догадаться, что под известными законами надобно тут разуметь законы, управляющие экономическою стороною народной жизни или человеческой жизни; но мы все-таки догадались об одной стороне, а Рошер говорит о нескольких «сторонах»; что же это значит? что у политической экономии не один главный предмет, как бывает у всякой благопристойной науки, а таскается она по разным предметам, представляет собою не систему понятий, а сброд всяких понятий, каким была в старинных философских школах космология? Обидел свою науку Рошер. Но это бы еще ничего, можно было бы простить обиду, если бы можно было тут понять что-нибудь: по Гегелю или по какому-то другому философу доказывается, что «понять — значит простить». Но главная беда в том, что понять нельзя: какие же это «стороны» жизни, кроме одной экономической стороны, составляют задачу политической экономии? Подите спрашивайте у Рошера, и тот сам не сумеет отвечать. Ну, бог с ней, с задачей политической экономии, она что-то непонятна. Посмотрим, какова «цель» ее. Не знаем, не ошибаемся ли мы, но берет нас подозрение, будто бы и «цель», и «задача» — одно и то же. Так вот цель политической экономии: «изложить, что передумали народы, чего они хотели, к чему стремились и чего достигли каждый в своем хозяйстве; наконец, почему они стремились и почему именно этого достигли». Вот это уж очень понятно, не в пример предыдущему; но уж тут, к несчастью, совершенно обнаруживается, что Рошер зарпорто-

вался. Ведь каждому известно, что систематическое изложение понятий о каком бы то ни было предмете составляет науку об этом предмете, а история этой науки — вещь очень полезная, достойная, если хотите, называется тоже наукой, но все-таки вещь совершенно особенная. Возьмите, например, уж не то что какую-нибудь вечную сторону общечеловеческой жизни, а даже хоть какое-нибудь особенное, временное, чисто историческое проявление человеческой жизни, например, хоть древних греков или хоть какую-нибудь сторону жизни этих древних греков, все-таки, как вы знаете, и об этом явлении систематическим образом говорит одна особенная наука, а исторический ход фактов этого явления рассказывает другая наука; например, кроме истории греческого народа, есть наука, называемая греческими древностями или греческою археологию; или, например, греческая мифология сама по себе, а история греческой мифологии сама по себе; эстетическая теория греков сама по себе, а история греческого искусства сама по себе.

Разумеется, теория предмета и история предмета — науки, чрезвычайно тесно связанные между собою. Если хотите, можете думать, что теория предмета должна выводиться исключительно из истории предмета. Это будет мнение, справедливое лишь относительно отживших предметов, которых уже нельзя наблюдать прямым образом, сведения о которых заимствуются лишь из исторических материалов, а не из живой действительности; да и к тем оно применяется не вполне: ведь греки были тоже люди, как и мы, стало быть, проверять и дополнять исторические свидетельства о греках мы отчасти можем по себе и по другим живым народам. Ведь если бы у Арриана или Квинта Курция⁸ было написано, что по чрезвычайной боевой закаленности воины Александра Македонского могли сражаться, потеряв голову от неприятельского меча, или лишались способности влюбляться, или не чувствовали голода, — ведь мы бы сказали, что это вздор. Стало быть, и тут, кроме истории, есть другой источник для теории предмета. А для наук, излагающих не мимолетные явления, а вечные стороны человеческой жизни, этот второй источник — наблюдение над живой действительностью — гораздо важнее первого, то есть исторических фактов. Ну, скажите, сделайте одолжение, что, кроме своей охоты казаться ученым, обнаружу я, начав историческим образом доказывать или исследовать, или проверять, положим, тот экономический закон, что чем урожайнее год, тем дешевле бывает хлеб, а при неурожае цена хлеба поднимается? Кажется, можно и знать, и доказать это без греческой истории. Но все-таки говорите, если хотите, что теория предмета должна основываться исключительно на истории предмета: ваши слова будут ошибочны, но в них будет смысл. У Рощера выходит не то: у него просто путаница, лишенная человеческого смысла: цель науки народного хозяйства изложить, что

передумали народы, чего хотели, чего достигли, — господи прavedный! да ведь это история народного хозяйства, а не наука народного хозяйства.

Вы не подумайте, будто мы доказываем, что Рошер ошибается, — этого мы не говорим; пусть будет и чистая правда все, что он говорит; мы рассуждаем не о том, что он мыслит, а лишь о том, как он мыслит; и оказывается, что ученый муж сей действительно очень ученый муж, только в логике несколько слабават. Хочет он сказать, вероятно, очень хорошие вещи, только сообразить их не умеет и говорит нескладицу. Как бы нам распутать эту нескладицу? Не будем же слушать самого Рошера; он, пожалуй, наговорит нам таких вещей, что надобно будет только руками разводить, слушая его; пусть объясняет нам его заслуги г. Бабст, умеющий рассуждать логически.

Не Рошер первый почувствовал пользу исторических разъяснений для экономических вопросов, говорит г. Бабст; но «никто не высказал так ясно и так основательно необходимости историко-физиологического метода», как он. Была школа, провозглашавшая вечными истинами свои односторонние выводы и забывавшая, «что не одно у ней общество перед глазами, а целый ряд народностей на разных ступенях развития и вследствие этого с различными экономическими потребностями». Представителем такого взгляда г. Бабст называет Сэ. Но

в то самое время, когда Сей высказывал такой взгляд на историю, когда целая школа гремела против дерзких нововводителей и провозглашала непреложность и вечность своих экономических теорий, в то самое время подготовлялся и разрабатывался тихо и незаметно среди даже самой школы материал, готовивший торжество нового метода, а с другой стороны раздался клики противной партии, партии утопистов, которые, сами того не подозревая, вспахивали и удобряли поле для новых успехов исторической школы. В первом отношении важны издания и собрания старинных экономистов, заставившие обратиться к разработке прежних воззрений и прежней экономической жизни, а с другой стороны ту же самую услугу оказали социалисты, которые в своей критике и в своих нападках на современное положение экономической теории, на возрастающие бедствия большинства рабочего класса прибегали очень часто к указаниям на прежде существовавшие формы и условия экономического быта, вызвали своих противников на то же самое поле и заставили их также обратиться к истории и к строгому исследованию прежних форм народного хозяйства.

Рошер нигде не пытается выставить абсолютного идеала народного хозяйства, на котором, как на прокрустовом ложе, желали бы многие растянуть народную жизнь; не выставляет и тех утопий, от которых всегда и везде отшатывался здравый смысл народа. Вся задача его состоит в том, чтобы доискаться основных понятий и первобытных начатков народного хозяйства в эпохи самые отдаленные, проследить за ходом их исторического развития и пояснить их наблюдениями и учениями, выработанными наукой и опытностью. Он преследует и выводит только начала, которые оказались в свое время действительно благотворными и полезными для народа. Излагая естественные законы народного хозяйства, Рошер выводит перед нами целый ряд народных хозяйств со всеми их условиями, с их ошибками и с их здоровыми сторонами. Нет народа, жизнь, развитие и хозяйственный быт которого оставлен был бы без внимания Рошером. Древность ему так же близко знакома,

как и новое время, и здесь (именно во втором томе его труда), мы обязаны ему многими замечательными исследованиями, громко говорящими в пользу его обширных сведений и глубокого изучения древности. Нередко замечательное открытие или блестящая, проливающая свет на целую эпоху мысль скрывается у него под скромною формой примечаний. Наконец, почти ни одно из замечательных новейших путешествий не оставлено им без внимания, и хозяйственный быт современных народов Европы до островитян Тихого океана изучен и обследован им с самою мелочною подробностью и с глубочайшим историческим тактом (Предисл. VIII и XI).

Вот теперь уже можно понять, в чем дело. У некоторых писателей школы Адама Смита явилась мысль, будто бы формы экономической жизни, господствовавшие в передовых странах Европы около конца прошлого и начала нынешнего века, — геркулесовы столбы человеческого развития, дальше которых так уж и никогда не пойдет история. Г. Бабст очень справедливо называет этот взгляд узким и односторонним. Читатель знает наше пристрастие к г. Бабсту; знает, что мы ставим его гораздо выше всех писателей, известных у нас за знатоков политической экономии⁹. Впрочем, предпочтением пред ними еще мало определяется наше мнение о г. Бабсте: лучше мы просто скажем, что уважаем его. Одна из главных причин уважения к нему та, что он высказывает подобные мысли и высказывает их не ради одного приличия: он действительно сочувствует стремлению улучшить не одни подробности экономического быта, чем ограничиваются другие экономисты, а заменить коренные черты его новыми, лучшими. Итак, по словам г. Бабста, возникла у некоторых последователей Адама Смита ошибочная тенденция доказывать непреложность и вечность нынешних форм экономического быта. Происхождение такого взгляда объясняет он пренебрежением этих писателей к истории; точно так же объясняют это явление почти все экономисты, успевшие или воображающие, что успели выбиться из него. Мы прибавим еще другую причину, которая, нам кажется, участвовала тут гораздо больше, чем незнакомство с историею или пренебрежение к ней. Дело известное, что в каждом сословии, в каждом положении встречаются люди с исключительными характерами, с особенными, не похожими на других понятиями. Но такие люди всегда бывают лишь исключением из правила. Масса людей имеет взгляд, сообразный с тем, чего требуют ее (истинные или только кажущиеся ей) выгоды. Возьмите какую хотите группу людей, ее образ мыслей бывает внушен (верными или ошибочными, как мы заметили, все равно) представлениями об ее интересах. Начнем хоть с классификации людей по народностям. Масса французов полагает, что Англия есть «коварный Альбион», погубивший Наполеона I из ненависти к французскому благосостоянию. Масса французов находит, что рейнская граница — естественная и необходимая граница Франции. Она также находит, что присоединение Савойи с Ниццею — дело прекрасное. Масса англичан находит, что Наполеон I хотел погубить

Англию, ничем невинную, что борьба с ним была ведена Англиею лишь для собственного спасения. Масса немцев находит претензию французоз на рейнскую границу несправедливою. Масса итальянцев считает отторжение Савойи с Ниццею от Италии делом несправедливым. Отчего такое различие взглядов? Просто от противоположности (конечно, мнимых, фальшивых, но считаемых у той нации действительными) интересов наций. Или возьмем классификацию людей по экономическому положению. Производители хлеба в каждой стране находят справедливым делом, чтобы другие страны допускали ввоз хлеба этой страны беспошлинно, и столь же справедливым, чтоб ввоз хлеба в их страну был запрещен. Производители мануфактурных товаров в каждой стране находят справедливым, чтобы иностранный хлеб допускался в их страну беспошлинно. Источник этого противоречия опять-таки все тот же: выгода. Производителю хлеба выгодно, чтоб хлеб был дороже. Производителю мануфактурных товаров выгодно, чтоб он был дешевле. Увеличивать число таких примеров было бы напрасно, — каждый может сам набрать их тысячи и десятки тысяч. Австрийские немцы полагают, что справедливо им господствовать над австрийскими славянами; австрийские славяне полагают, что справедливо им господствовать в Австрии; члены каждого замкнутого цеха, каждой привилегированной или исключительной корпорации доказывают справедливость своей монополии, приносящей, по их словам, пользу всему обществу. Огромное большинство писателей всегда держатся взгляда той группы, к которой принадлежат. Из 100 французских историков по взгляду 99 во всем всегда бывали правы французы; у английских историков то же самое относительно англичан, у немецких — относительно немцев и т. д.; у писателей аристократического образа мыслей правда на стороне аристократии, у писателей, представляющих собою среднее сословие, правда на стороне среднего сословия, и т. д.

Этим психологическим законом, по которому почти у каждого — простого ли человека, оратора ли, писателя ли, в разговорах ли, в речах ли, в книгах ли, все равно — оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит, — этим психологическим законом надобно объяснить и тот факт, что политико-экономам школы Адама Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представителями стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому

школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большою резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными.

Такое объяснение гораздо проще мудреного вывода столь натуральной тенденции из отвлеченного основания, относящегося не к практической жизни, а к способу, каким оценивают юношей на экзаменах: такую-то науку он изучил хорошо, а другую знает слабо. Будто в самом деле малое знакомство с историей могло лишать политико-экономов знания о том, что существовали иные формы экономического быта, различные от нынешних, и будто через это отнималась у таких людей возможность чувствовать потребность новых совершеннейших форм, отнималась возможность признавать нынешние формы не безусловными? Ведь каждый грамотный человек, хотя бы сроду не занимался историей, слышивал о юбилейном годе евреев, об Иосифе Прекрасном, благодаря которому вся земля в Египте стала принадлежать фараону, о Ликурге, о Солоне, о Гракхах; да и безграмотный человек каждый слышивал в детстве сказки, в которых сохранились предания о формах экономического быта, вовсе не похожих на нынешние. У кого из политико-экономов есть расположение усомниться в абсолютности и неизменности нынешних форм, в том уж от одних этих преданий развился бы более широкий взгляд на вещи. Да полноте, будто нужны человеку хоть какие-нибудь рассказы о чем-нибудь ином, непохожем на его положение, чтобы чувствовать неудобство своего положения, если оно неудобно, желать лучшего, если оно худо? Разве не видит он своими глазами вокруг себя все, что нужно для возбуждения в нем таких мыслей? и разве он — дерево, чтоб не чувствовать ему самому и без помощи исторических сведений желания избавиться от неудобств? Значит, дело не в исторических сведениях, а в том, каковы чувства мыслителя или группы людей, представителем которых он служит. Что же в самом деле, разве Фурье знал историю подробнее, чем Сэ? Нет. Кому хорошо настоящее, у того нет мысли о переменах; кому оно дурно, у того она есть независимо от обладания историческими знаниями или хотя бы полнейшего отсутствия их. Начали думать о вопросах политической экономии люди, бывшие представителями не того сословия, которому как раз пригодны нынешние экономические формы, а представителями массы, и явилась в науке другая школа, которую г. Бабст называет (неизвестно на каком основании, — мог бы он предоставить употребление подобных имен людям, менее его знающим и менее его мыслящим) — называет партией утопистов.

Вот в этом-то, если хотите, и лежит настоящая причина расположения к историческому методу, явившегося в последователях прежней школы, которые увидели себя теперь в звании консерва-

торов в противность прежней своей похвальбе прогрессивностью. Против средневековых учреждений, несогласных с выгодами коммерческого сословия, ратовали они во имя разума; а тут вот на грех явились люди, начавшие говорить: «по разуму действительно следует быть тому, чего желаете вы, только сверх того требуется по разуму еще многое другое; вы произносите только начало формулы, а конец ее вот каков»; словом сказать, пред лицом мыслителей непоследовательных явились мыслители последовательные. Против средневековых учреждений разум был для школы Адама Смита превосходным орудием, а на борьбу с новыми противниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно. Что тут делать? Не нами придумано, не нами и кончится изворот, употребляемый в таких случаях: если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит. Например: на основании разума никак не могут англичане доказать, что жители Ионических островов должны быть под английским управлением, которого терпеть не могут. На основании разума выходит, что жители Ионических островов должны присоединиться к греческому королевству, чего они и желают. Вот англичане и хватаются за историю: мы, дескать, управляем Ионическими островами на основании таких-то и таких-то исторических событий, на основании таких-то и таких-то документов.

В политической экономии исторический способ доказывания бесполезности или невозможности того, чего требует разум, имеет два вида. Первый сорт апологии таков: форма, существующая ныне, существовала у вавилонян, ассирийян, мидийцев, персов, греков, македонян, римлян, ост-готов, вест-готов, герулов, вандалов, франков, гуннов, алеманов, маркоманов, лонгобардов и т. д., — следовательно, человечество без нее обойтись не может. Этот сорт аргументаций очень убедителен: например, вавилоняне, ассирияне, мидийцы и т. д. (зри выше) резали военнопленных или обращали их в рабство, — следовательно, и мы должны делать так же, потому что человечество иначе поступать не может: это лежит в натуре человека. Аргумент бесспорный; жаль только, что в политической экономии лишь в немногих случаях можно употреблять его, хотя бы с натяжкой: почти все нынешние экономические формы, и в том числе все важнейшие, или произошли недавно, или потерпели в недавние времена очень сильные изменения. Следовательно, приписывая им какую угодно вечность в будущем, никак нельзя доказывать их вечности в прошедшем. Из этой беды выручает второй сорт исторического аргумента, не столь убедительный, зато более лестный для читателей; вот он: первоначально это дело имело такой-то вид, при высшем развитии получило такой-то, а еще при высшем — такой-то, а ныне, при еще высшем, имеет вот какой, — следовательно, нынешний вид дела

уже очень хорош, и недовольны им могут быть лишь безумцы. Успокаивать я на этом бывает очень умно и приятно. Например: окрестности Рима, или так называемая Римская Кампанья, конечно, были первоначально пустынею; когда Италия несколько населилась, местность эта уже служила пастбищем, как видно из рассказов о Нумиторе, Ромуле и Реме (времена перед основанием Рима). По основании Рима постепенно покрылась она цветущими нивами, которые возделывались доблестными гражданами вроде Цинцинната и Регула; когда Рим стал грабить целый свет, эти свободные и почтенные земледельцы исчезли, заменившись рабами (то был век развития гораздо высшего, чем грубые времена Цинциннатов и Регулов); но римская образованность должна была сменяться высшею, явились новые народы, чтобы внести в историю человечества принцип личности, и Римская Кампанья была разграблена: это было необходимо для высшего развития; когда варварские нашествия прекратились, Римская Кампанья снова населилась земледельцами, более или менее благосостоятельными, и покрылась нивами, как было за 1 000 или за 1 500 лет перед тем. Но история шла вперед, человечество делало успехи во всех отношениях, и Римская Кампанья была захвачена могущественными фамилиями, которые нашли удобнейшим для себя обратить ее в пастбище, так что ныне представляет она собою пустыню, зараженную миазмами; как же не сказать теперь, что нынешнее положение Римской Кампаньи очень хорошо?

Вот коренной смысл стремления, из которого возникла любовь к историческому разрешению политико-экономических вопросов. Нет надобности прибавлять, что и на этом поприще дело принимает оборот вовсе не такой, какой хотели придать ему писатели, прибегнувшие к историческому методу для опровержения требований разума. Ведь известно, что та сторона, которая сильнее логикою, побьет противную на всех пунктах, за какую науку ни хватятся она. Так и по истории оказалось, что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношений, противоречащих требованиям экономической науки, несовместных ни с успешностью труда, ни с расчетливостью потребления, — словом сказать, представляют собою результаты причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе, экономический быт основался на завоевании, на конфискации, на монополии. Причины этих результатов наука стремится устранить из жизни, влияние этих причин на жизнь признает она вредным; следовательно, история изобличает то, на защиту чего была приглашена.

Но к многоученому и почтенному Рошеру все это нимало не относится. Он завален книгами, сквозь которых не пробьется до него никакая живая мысль: ни дурная, ни хорошая. Начали говорить: «подавайте нам на помощь историю», он и обрадовался:

история — ведь это десятки тысяч фолиантов; о, восторг! сколько из истории можно выкопать учености! вот он и пошел копать. Зачем копать, для кого копать, — об этом уж ему некогда подумать; да и к чему думать? разве думанье — ученость? Какое дело работнику железного рудника, на что пойдет добываемая им руда: в чугуны ее переплавят, в железо или в сталь; паровую ли машину, или серп, или иголку, или пушку сделают из этого металла, — ему какая надобность? он себе копает да копает. Честь и хвала его усердию.

О том, что книга, столь богатая фактами, как труд Рошера, заслуживает перевода, нечего и говорить. За достоинство перевода ручается имя г. Бабста.

Картины из русского быта, Владимира Даля. 2 т. Спб. 1861.

После шума, которого наделал г. Даль своею несчастною фантазиею о том, что грамота бывает гибельна для народной нравственности¹, после справедливых упреков и пристыжений, какие сыпались на него тогда со всех сторон, а в особенности после его неудачных попыток защититься, окончательно испортивших его дело, — после всей этой неблагоприятной истории, им сочиненной, трудно решиться сказать что-нибудь в похвалу чему-нибудь написанному г. Далем. Вы ждете, что за этим последует «но» или «однакоже», — не ждите, иначе ошибетесь; мы и не хотим ничего сказать в похвалу г. Далю.

Станный человек г. Даль! Все утверждают, что он необыкновенно много знает о быте, нравах, способе рассуждений и образе выражений русского народа. О чрезвычайном знакомстве его с народностью рассказывают удивительные вещи; говорят, например, будто бы он так превосходно знает все мельчайшие оттенки местных наречий и поднаречий, что по выговору каждого встречного простолюдина отгадывает не только губернию, не только уезд, но даже местность уезда, откуда этот человек. Мы готовы верить тому, хотя оно — и невозможная вещь. Но достоверно то, что г. Даль знает десятки тысяч анекдотов из простонародной жизни, собрал чуть ли не до 50 000 русских пословиц и чуть ли не полмиллиона слов и оборотов простонародной речи. А между тем — ведь не поверишь этому, если незнаком с его сочинениями — ровно никакой пользы ни ему, ни его читателю не приносит все его знание. По правде говоря, из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах не найдешь ни капли народности. В одной страничке очерков Успенского² или рассказов из простонародной жизни Щедрина о народности собрано больше и о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г. Даля. Он знает народную

жизнь, как опытный петербургский извозчик знает Петербург. «Где Усачов переулок? Где Орловский переулок? Где Клавикордная улица?» Никто из нас этого не знает, а извозчику все это известно, как свои пять пальцев. Ну, а попробуй человек, не знающий Петербурга, узнать что-нибудь о Петербурге от этого извозчика, — ничего не узнает или узнает такую дичь, что и знающий человек не распутает потом.

У г. Даля нет и никогда не было никакого определенного смысла в понятиях о народе, или, лучше сказать, не в понятиях (потому что, какое же понятие без всякого смысла?), а в груде мелочей, какие запомнились ему из народной жизни. Когда-то г. Даль писал сказки, а может быть, кроме сказок, и еще какие-нибудь рассказы, — для простого ли народа, или для публики, не знаем хорошенько, — только знаем, что писал он когда-то и что-то простонародною речью. Простонародная речь эта выходила такая пересоленная, перехищренная, что от настоящей простонародной речи была дальше, чем перевод Риттерова землеведения, делаемый г. Семеновым с сохранением всего смешения языков, какое есть в подлиннике у Риттера³. После того, а может быть и раньше того, а может быть и вместе с тем, г. Даль писал длинные повести из простонародного быта обыкновенным литературным языком. Повести эти совершенно не достигали своей цели. Положим, тут еще можно было придумать другое объяснение, кроме того, что г. Даль не понимает народного быта. Можно было сказать: повести эти написаны с претензией на художественность, а художественного таланта у г. Даля нет, потому из повестей ничего и не выходит. Но вот г. Даль собрал, теперь целую сотню коротеньких рассказов. Тут дело проще, особенного литературного таланта может и не понадобиться, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие в нескольких словах. Ведь в каждом номере «Петербургских ведомостей» и «Северной пчелы» описывается по нескольку происшествий разными корреспондентами и обличителями, и на литературный талант никто из них не претендует, а рассказы их часто бывают любопытны, и в рассказываемом часто бывает смысл. Посмотрим, что сообщает нам г. Даль в коротеньких рассказах, в которых так удобно было бы передать все, что угодно было автору передать.

Берем, например, рассказ № 1-й «Поверка». В одном присутственном месте члены и секретарь брали деньги из казенного сундука на свои коммерческие обороты или на отдачу в проценты, и часто им случалось вкладывать в ящик ко дню поверки сумм деньги, занятые лишь на этот день у купцов, бывших заседателями в том же присутственном месте. Губернатор прослышал об этом, приехал ревизировать, запечатал казенный сундук и велел отнести его на хранение на гауптвахту. Купцы, помогавшие плутовству, остались в дураках. — Ну, что же из

этого? Да ничего. Видно, что губернатор перехитрил своих подчиненных.

Вот рассказ № 2-й. «Беглянка». В какой-то турецкой деревне встретил г. Даль русскую избу, а в избе — русскую женщину. «Как ты попала сюда?» — спрашивает он женщину. Она отвечает: «Мой муж был мужик зажиточный; какой-то плут подговорил его бежать в Турцию, на дороге зарезал, овладел его деньгами, а меня заставил жить с собою вот здесь». Ну, что же из этого? Ничего. Видно, что плуты бывают иногда очень плутуваты, а мужики поддаются их плутням.

Идем далее по порядку. Рассказ № 3-й. «Вор». Богатый мужик, боясь воров, ходил по ночам осматривать клетки и раз действительно наткнулся на вора. Вор принял его за человека, также пришедшего воровать. Они вошли в клеть вместе, и пока хозяин искал топора, чтобы пришибить вора, вор бросился на печеный хлеб, лежавший в клетке, — он пошел воровать с голоду и не хотел ничего взять, кроме хлеба. Хозяин сжалился и, кроме печеного хлеба, подарил ему мешок муки. — Из этого рассказа выходит, что «вор-вору рознь, и что нельзя без суда присуждать всякого вора на осину».

№ 4-й. «Сухая беда». Один чувашин побил другого, тот пожаловался; обидчика взяли в полицию и наказали, да вышло так, что наказали, вместо одного раза, три раза. Он ожесточился на человека, подвергнувшего его этому наказанию, и, чтобы отплатить ему по чувашскому обычаю, повесился у него на воротах. «Такой висельник известен у нас в народе под названием *сухой беды*; и, говорят, поныне еще чувашаи в злобе своей грозят иногда друг другу тем, что сулят на двор сухую беду, то есть обещают один у другого на дворе удавиться».

№ 5-й. «Находка». Казак возвращался из французского похода домой с добычею: до 30 тыс. р. золотом было зашито у него в седельной подушке. На дороге износились у казака сапоги, а мелочь, бывшая в карманах, уже израсходовалась. Распарывать подушку казаку не хотелось, да и привык он в походе даром брать все, что попадется. Нагнал он в одиноком месте мужика, пригрозил ему саблей и велел снимать сапоги; мужик снял; казак слез с лошади и стал их напяливать. А мужик тем временем вскочил на лошадь, да и ускакал. Казак остался без денег, а мужик, опустив золото в подушку, разбогател.

Не довольно ли этого? А то, пожалуй, развернем и 2-й том, на каком случится месте, и посмотрим. Книга развернулась на рассказе № 78, «Нога». Карасубазарский драгунский полк вошел в село Сивый Кут. На базарной площади стояла толпа народа и смотрела в землю. Дело в том, что на площади рыли колодезь; во время работы земля обвалилась, выломив несколько плохих бревен сруба, и одним из этих бревен прижало работнику ногу так, что не было возможности высвободить ее. Полковой доктор

и костоправ были люди отважные: спустились в колодезь, произвели там ампутацию; работника вытащили; он скоро выздоровел и теперь на деревянной ноге честно зарабатывает себе хлеб пилкой.

То был № 78-й, а вот № 88, «Подкидыш». Жена бедного чиновника родила двойню. Потолковала, потолковала она с мужем и решила подкинуть их. Муж взял сначала одного из новорожденных и пошел подкидывать к откупщику. А к откупщику перед самым этим часом был уже подкинут другой ребенок, и в доме держали ухо востро. Чиновника подстерегли, обыскали, нашли, что он принес подкидывать ребенка, и заставили вприбавок к этому ребенку взять еще и другого, подкинутого раньше кем-то. Таким образом, бедной чиновнице вместо двух — пришлось кормить троих новорожденных. Но на принесенном чужом ребенке оказалась записочка с приложением ста рублей, а начальник, услышав о таком случае, дал чиновнику место, на котором жалование было больше прежнего.

Кажется, довольно: семь рассказов взяли мы на пробу, во всех оказалось одно и то же. — г. Даль слышал анекдот, который показался ему интересен, взял да и пересказал его. Если в анекдоте не было никакого смысла, г. Даль не почел нужным вложить в него смысл; а если анекдот имел какой-нибудь смысл, то утратил его в пересказывании г. Даля.

Как пофилософствуешь иной раз, — и пожалеешь, случается, зачем это так странно разъединены бывают по нескольким головам качества, которым хорошо было бы соединяться в одной голове. Например, один знает многое, но сообразить ничего не может; другой соображать мастер, но ничего не знает. Но это сожаление — вздорная мечта, отвергаемая глубокомысленною наукою. По глубокомысленной науке этому так и должно быть; это называется разделением труда. Один пашет землю под пшеницу, но не ест пшеницы; другой ничего не делает, зато кушает белый хлеб; и наука доказывает, что при этом оба дела идут гораздо успешнее: один, который не ест пшеницы, наготовит ее для других больше, чем когда бы и сам тоже ел ее; другой, который ничего не делает, съест гораздо на большую сумму, чем когда бы сам работал. Так и тут. Г. Вл. Ламанский, например, ровно ничего не знает о русском народе, зато рассуждает о нем; г. Даль очень много знает о русском народе, зато рассудить ничего не умеет; и от этого у обоих гораздо больше успеха, у каждого в его деле. Если бы г. Даль искал смысла в своих знаниях, он не наслушался бы столько анекдотов и не запомнил бы столько поговорок; а г. Ламанский, если бы знал русский народ, в десять раз меньше стал бы рассуждать о нем, — и почему знать? быть может, даже меньше бранил бы немцев на своих лекциях в Пассаже.

Краткое изложение русской истории. Составил Н. Тимаев¹
Изд. второе. Спб. 1861.

«В настоящее время» множество рук трудится над собиранием улик в прегрешениях «Современника»². Г. Тимаев так счастлив, что получил от публики — заметьте, от самой публики! это не шутка — одну улику подобного рода, и так добр, что выставляет эту улику на общее пользование. Публика, говорит он в предисловии ко 2-му изданию своего «Краткого изложения русской истории», раскупила все прежнее издание, а требования на книгу все продолжают, «это, вопреки мнению рецензента «Современника» 1859 года, показывает или то, что книга моя имеет свои достоинства, или же то, что в литературе нашей недостает именно такого рода руководства». Должно быть, или то, или другое. Поищем сначала достоинств.

Русские, говорит Тимаев, — славяне; а славяне, говорит он, бывают разные: восточные, северо-западные и юго-западные. «К юго-западным славянам принадлежат: болгары, сербы, хорваты, хорутане, черногорцы; они находятся под властью Турции и Австрии». Что же это, значит черногорцы — не сербы? и под чьей же это властью они находятся: под властью Турции или под властью Австрии? «К северо-западным славянам (продолжает г. Тимаев) принадлежат: поляки, чехи, моравы, находящиеся под властью Австрии и Пруссии». А не существует ли на свете еще лужичан, не существует ли тоже словаков? и не находится ли поляков под властью еще какой-нибудь другой державы, кроме Австрии и Пруссии? Впрочем, кроме славян, жили на пространстве нынешней России и другие племена, говорит г. Тимаев: «на север от Волги многочисленное финское племя», — ну, а мордва, донные остающаяся в губерниях Пензенской и Саратовской, к какому племени принадлежит? какими же это судьбами губернии Пензенская и Саратовская лежат на север от Волги?

Мы видим, что г. Тимаев только из скромности говорит, будто бы в его «сочинении нет ни новых фактов, ни новых исследований и выводов». Мы пересматриваем книгу слегка; что попадется под глаза, то и выбираем: вот, например, параграф об унии. «Поляки обратили внимание на веру (говорит г. Тимаев), стараясь подать православие и распространить католицизм во всем киевском княжестве. Кирилл Терлецкий, епископ луцкий, Михаил Рагоза, митрополит киевский, и хитрый Ипатий Поцей, епископ владимирский *, недовольные константинопольским патриархом, решились отделиться от православия и искать покровительства у папы, главы западной церкви», и т. д. Что же, Кирилл Терлецкий, Михаил Рагоза и хитрый Ипатий Поцей были поляки? ³ а

* Речь идет о Владимире Волинском. — Ред.

если они были русские, то поляки ли завели унию? А вот параграф: «Образование Петра Великого». «О детстве Петра рассказывают, что однажды во время Алексея Михайловича купец принес Петру подарки, между которыми находилась маленькая сабля: трехлетний царевич схватился за саблю» и — ждете вы по этому началу — прибавил, что, дескать, когда я вырасту, я этою саблею побью Карла XII под Полтавою; но нет: г. Тимаев не догадался, что его анекдот следовало бы закончить таким манером. А вот «Отечественная война 1812 г.» «Наполеон, желая покорить и саму Россию, вскоре нашел предлог к войне». Вот как, Наполеон желал покорить Россию! Такой скрытный был человек: никто до г. Тимаева не умел узнать этого! Нет, что ни говорите, новых фактов в маленькой книжке г. Тимаева немало. Судя по этим небольшим выдержкам, надобно отвергнуть первую половину дилеммы автора: «или то, что книга моя имеет свои достоинства». Значит, объяснить продолжающееся требование на нее можно только второю половиною дилеммы: «или же то, что в литературе нашей недостает именно такого рода руководства»; именно недостает такого рода руководства: есть руководства недурные; есть много руководств плохих, но и плохие все-таки писаны людьми, хоть сколько-нибудь знакомыми с предметом; а такого руководства, которое имело бы совершенно ребяческий характер, до издания книжки г. Тимаева не было. Полная благодарность ему за то, что он потрудился восполнить этот недостаток.

И какой плодовитый педагог г. Тимаев! На обертке его книжки читаем, что в книжных магазинах С.-Петербурга, кроме «Краткого изложения русской истории», поступили в продажу тоже его сочинения: «Краткий учебник всеобщей истории, ч. I. История древнего мира», «Тетрадь всеобщей географии», — это все сочинения г. Тимаева; а дальше поставлены еще две книги: «Греческая мифология» и «Филокрит, трагедия Софокла, перевод с греческого», — чье сочинения эти две книжки, не написано; только поставлены они рядом с сочинениями г. Тимаева. Но кем бы ни был напечатан «Филокрит», перевод с греческого, этот господин, то есть не Филокрит, а человек, его напечатавший, должен быть отважный прогрессист, бойкая голова, нововводитель; так что недаром поставлена его книжка рядом с сочинениями самого г. Тимаева: один уничтожает букву *ѣ*, заменяет букву *и* буквою *і*, а другой открывает, что Наполеон желал покорить Россию и что черногорцы — не сербы. Оба молодцы. Однако погодите, это еще не все: на обертке «Краткого изложения русской истории» напечатано еще, что в непродолжительном времени выйдет в свет «Краткий учебник всеобщей истории. Часть 2. История средних веков. Составил Н. Тимаев».

Скоро ли г. Тимаев исполнит это обещание, скоро ли подарит нас «Историею средних веков» такого же ребяческого характера, как «Краткое изложение русской истории»?

Краткий учебник всеобщей истории. Ч. II. История средних веков. Составил Н. Тимаев. С-П — бург. 1861.

А вот обещание уж и исполнено. Молодец г. Тимаев; право, хорошо.

«Не все народы, — говорит он в начале своей новой книжки, — одинаково важны для истории: некоторые народы исчезли, оставив только имя своему потомству; другие народы содействовали к развитию образования; третьи способствовали к распространению образования; четвертые разрушительными появлениями и набегами задерживали ход образования. Поэтому народы могут быть разделены на исторические и неисторические; так, древние греки и римляне, новейшие французы, англичане, германцы суть вполне исторические народы; напротив того, готтентоты, негры, калмыки, якуты суть не исторические народы». Готтентоты, калмыки, якуты, вероятно, и по мнению г. Тимаева не содействовали развитию или передаче образования; значит, ни ко вторым, ни к третьим народам они не принадлежат: что же они — четвертые народы, которые разрушительными появлениями и набегами задерживали ход образования? Или они — те народы, которые «исчезли»? Вот видите ли, г. Тимаев, прежде, чем печатать исторические учебники, надобно самому выучиться писать с толком; иначе не попадешь в число «писателей, благодетелей и друзей человечества», которые «сильно подвигают вперед общество». Впрочем, кажется, что г. Тимаев может «преимущественно явиться деятелем в истории» как художник: в своих маленьких книжках он часто проявляет поэтический склад души. Начнет, например, говорить о рыцарских замках и прибавит, что в наше время их развалины «служат жилищем воронам и летучим мышам»; или, начнет говорить о Фридрихе II Гогенштауфене и очень мило обрисует «прекрасную Италию с ее светлым небом, чудным климатом и роскошною природою». Книжка у него очень маленькая — всего страничек 300 самого маленького формата — и напечатана крупным шрифтом; кажется, негде было бы разгуляться, — нет, он умеет распорядиться местом, все важное успеет сообщить. Например: в кратком учебнике иной не нашел бы места поразговориться о домашних делах Рудольфа, графа Габсбургского, до его избрания в императоры¹; а г. Тимаев открыл возможность рассказать нам следующий, конечно, очень важный исторический факт: «В это время в южной Германии, Швабии, жил Рудольф, граф Габсбургский, отличавшийся отвагою, благочестием, справедливостью и добротою, так что он был любим своими подчиненными. Однажды Рудольф Габсбургский ехал верхом на коне и встретил священника, шедшего с святыми дарами к больному; благочестивый Рудольф сошел с коня, предложил его священнику для переправы через речку и потом подарил

коня священнику». Это очень хорошо. Дошла у г. Тимаева очередь до Венеции, — он и тут успел заметить, что «длинные и легкие гондолы отличались изяществом и роскошью: но с XVI века все гондолы делались черными». Да ведь XVI век, если не ошибаемся, принадлежит уже не к средней, а к новой истории; что же краткому учебнику истории средних веков до того, в какой цвет стали красить гондолы с XVI века? Словом сказать, книжка г. Тимаева написана как будто бы стенографом со слов бойкого мальчика, который так и режет свой ответ на экзамене; чего, чего не подвернется под язык этому мальчику! Случилось ему прочитать балладу Шиллера в переводе Жуковского, — он вклеит ее в ответ; случилось прочесть в старинном «Живописном обозрении» статейку о гондолах, — он и гондолы всунет в ответ; а вдруг порадует вас и таким рассказом: «Из преемников Роллона замечателен герцог Роберт, по прозванию Дьявол². Сначала Роберт-Дьявол вел самую преступную жизнь; он жил в твердом замке среди дикого леса, составил себе толпу отважных товарищей, с которыми он нападал на монастыри и замки, грабил их и убивал путешественников, купцов и горожан; отец его, опечаленный поведением сына, умер с горя. Однажды, как рассказывают, Роберт ограбил один замок и велел привести к себе владельца замка; но так как владельца не было, привели владельницу замка, и Роберт узнал в ней свою мать. Она упрекала Роберта и говорила, что он хочет и ее низвести в могилу, как и отца. Это произвело сильное впечатление на Роберта; он переменял образ жизни, распустил своих товарищей и сам, как кающийся грешник, отправился к святым местам в Иерусалим и в Рим. Получив от папы прощение грехов, он возвратился в Нормандию и сделался одним из лучших герцогов норманских» (стр. 104). Выслушав такой эпизод, экзаминатор сурового свойства морщит брови и мычит: «не к делу рассказываете, не о том вас спрашивают; о Роберте-Дьяволе могли бы вовсе вы и не упоминать; он лицо неважное; вы бы учились хорошенько, а то, верно, в театре часто бываете, балеты смотрите, да нам на экзамене их и отвечаете». Но экзаминатор игривого свойства подмаргивает суровому товарищу и хихикает: «зачем же (хи, хи, хи! закрываясь платком) Роберт-Дьявол велел привести владельницу замка? что он с ней хотел сделать?» (Опять закрывается платком и хихикает; весь класс вторит ему громким хохотом; бойкий ствечающий мальчик сам улыбается и переминается.)

В предисловии к «Изложению русской истории» г. Тимаев говорит: «этот учебник составлен преимущественно для женских учебных заведений». Не знаем, для каких заведений преимущественно составлен «Учебник истории средних веков»; но если также для женских, г. Тимаев — большой шутник.

Тетрадь всеобщей географии. (Приготовительный курс)
Седьмое исправленное издание. Составил М. Тимаев. Спб., 1861.

Двумя страницами выше мы причислили эту «Тетрадь» к сочинениям г. Н. Тимаева, автора прекрасных ребяческих руководств по всяким историям: и по всеобщей древней, и по всеобщей средней, и по русской; а вот, видите ли, мы и ошиблись, не разобрали дела, напрасно предположили, что достаточно для России считать в числе своих сынов одного печатного г. Тимаева. Нет, и велика страна наша, и обильна гг. печатными Тимаевыми: в дополнение к Н. Тимаеву открылся теперь М. Тимаев; вы думаете: «ну, теперь уж довольно»; нет: к предисловию «Тетради», под которым написано «М. Тимаев», сделана прибавка в пять строк, говорящая, что «седьмое издание «Тетради» исправлено по новейшим географиям», и под этою прибавкою подпись: «В. Тимаев». Таким образом, птенцов (преимущественно женского пола, — надобно сказать, должно быть: птениц или птенок) назидают целых трое гг. Тимаевых: 1) Н.; 2) М.; 3) В. Как назидает их г. Н., мы уже видели. Полюбопытствуем теперь относительно гг. М. и В.

Мы слышали, как рассуждает о славянских племенах г. Н. Тимаев. Послушаем, что говорят о них гг. М. и В. Тимаевы. «Политическое обозрение Европы. Число жителей и их поколения. 1. Славянское поколение, к которому относятся: россияне (г. Н. Тимаев говорит просто «русские»), поляки, чехи или богемцы, венды в Пруссии (это должно быть — лужичане; ну, а как в Саксонии, нет ли там лужичан?), словаки, кроаты, иллириане, болгары, живущие в Австрии и турецких владениях». Гг. М. и В. Тимаевы имеют над г. Н. Тимаевым то преимущество, что знают лужичан (под именем вендов, как Геродот знал калмыков под именем агриппеев) и словаков (этих уже под настоящим их именем), которые укрылись от изысканий г. Н. Тимаева; а г. Н. Тимаев имеет над своими однофамильцами то преимущество, что знает хорутан, которых они не знают. Умилительно это сравнение: знание трех славянских племен разделилось между тремя однофамильцами, как раз каждому по племени: сему хорутане, оным же словаки и лужичане (рекомые венды).

Оно, впрочем, не одних хорутан не найдете вы между европейскими «поколениями»: гг. М. и В. Тимаевы забыли румунов, албанцев, мордву (ее могут они отыскать на север от Волги по указанию своего однофамильца), все латышское племя, ирландцев, бретонцев и все кельтское племя, басков; оно, впрочем, и то сказать, не стоит таких пустяков замечать. Вот еще отрывочек с той же страницы. «Хлебопашество почти везде производится, но в лучшем состоянии оно находится в Англии, в Нидерландах, и

Ломбардо-Венецианском королевстве. Россия и Сицилия также богаты хлебом». Это сопоставление России и Сицилии прелестно. Читаем дальше. «Рудопроизводство особенно важно в России, Швеции, Венгрии и в некоторых странах Германии, особенно в Богемии и Саксонии». Только? ну, а как же в Англии, которая одна добывает из своих рудников больше богатства, чем вся остальная Европа? Впрочем, что нам до заграничных земель, посмотрим лучше «обозрение Российской империи». «Величина ее свыше 400 000 кв. миль». А по академическому месяцеслову на 1861 год менее 375 000 кв. миль. Видно, у гг. М. и В. Тимаевых какие-нибудь особенные квадратные мили. Любопытно узнать, какие моря находятся на пределах Европейской России. Вот какие: «Моря. На севере — Северный океан. На западе — Балтийское море. На юге — Черное море и залив оною — Азовское море. Балтийское море служит преимущественно путем сообщения с другими народами». Хорошо: только Каспийское море где же? Видно, Каспийского моря не оказывается между Европейскою Россиею и Персиею «по новейшим географиям», по которым исправлено седьмое издание «Тетради». А жаль этого моря: оно снабжало нас хорошей рыбой. Идем дальше. «Европейская Россия разделяется на 5 стран: лесную страну, страну мануфактурной промышленности, страну горнозаводской промышленности, страну хлебопашества и степную страну. В стране мануфактурной промышленности находится губерния Казанская», однако, далеко же захватила страна мануфактурной промышленности. Известное дело, что когда одна вещь слишком растягивается, другая должна сжиматься. Потому из страны хлебопашества исключены «большая часть губерний Саратовской и Самарской и часть губернии Воронежской». Бедные части, куда они денутся?

Нет, гг. М. и В. Тимаевы нимало не уступят своими достоинствами своему однофамильцу.

Изумительно, что подобные, никуда негодные книжонки доживают до «седьмого исправленного издания». Какие несчастные люди принуждены покупать их?

Письма русских государей и других особ царского семейства. Изданы комиссиею печатания государственных грамот и договоров, состоящею при московском главном архиве министерства иностранных дел. I. Переписка Петра I с Екатериною Алексеевною. II. Переписка царицы Прасковьи Федоровны и дочерей ее Екатерины и Прасковьи. Москва. 1861.

Начнем прямо пересмотром исторических документов, находящихся в первых двух выпусках. Письма перенумерованы; мы и станем пересматривать их по порядку номеров.

№ 1. — 1707 г. января 8. Письмо Петра I к Анисье Кириловне Толстой и государыне Екатерине Алексеевне о приезде их в Киев.

Госпожи тетка и матка!

Письмо ваше, в котором пишете о нововыезжей Катерине, я принял; слава богу, что здорово в рожден(ь)и матери было, а что пишете к миру (по старой пословице), и ежели так станется, то мочно болше раду быть дочери, нежели двум сынам. О приезде нашем я уже вам говорил и сим писмом такоже поттвержаю: приезжайте в Киев не межкаф; из Киева отпишите, а не отпи-саф не ездите, для того, что дорога от Клева не очень чиста. При сем посы-лаю подарок матери и з дочерью.

Piter.

Из Жолкви, в 8 д. января 1707.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; хранится в государственном архиве министерства иностранных дел в книге под № 17.

№ 2. — 1707 г. февраля 6 дня. Письмо Петра I к Анисье Кириловне Толстой и государыне Екатерине Алексеевне, о приезде их в Жолкву.

†

Госпожи тетка и матка!

Как к вам сей доноситель приедет, поезжайте сюды не мешкаф.

Piter.

Из Жолкви, в 6 д. февраля 1707.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; письмо было свернуто паке-том, на обороте надпись: † Господам тетке и матке. Пакет запечатан красною суручною печатью, на которой изображен шифр: Р. А.: наверху корона. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

Точно таковы же письма от № 3 до № 8, от № 10 до № 23, от № 25 до № 97, от № 99 до 221, то есть до конца первого выпуска. Бóльшая часть писем тут от императора Петра к импе-ратрице Екатерине Алексеевне: есть несколько писем и от нее к нему. Содержание его писем таково: «я приехал вчера или треть-яго дня в город, из которого пишу тебе. Завтра или послезавтра отправляюсь в такой-то город». К этому прибавляются заметки о здоровье, иногда о погоде: когда Петр пишет с минеральных вод, то прибавляет, что пьет минеральные воды; когда императ-рица едет к нему, он советует ей, по какой дороге лучше проехать; очень часто прибавляется: благодарю тебя за твой подарок, — это обыкновенно какие-нибудь фрукты, иногда какая-нибудь дру-гая провизия или несколько бутылок вина или пива; довольно часто император сам посылает подарки супруге: кусок материи на платье или тоже что-нибудь из провизии. Если случилась какая-нибудь новость, в двух словах упоминается о ней, но реши-тельно всегда в двух словах, чрезвычайно кратко. Почти всегда упоминается о детях: хорошо, что они здоровы; пожалуйста, заботься о них; или: очень мне приятно, что ты так заботишься о детях. В письмах Екатерины к супругу то же самое, но чаще, нежели в письмах Петра, встречаются поздравления с праздни-

ками. Словом сказать, из 221 письма 218 имеют обыкновенный характер коротеньких записочек, посылаемых семьянином к семьянину наскоро, с единственной целью уведомить о здоровье, чтобы не беспокоились домашние, или сообщить что-нибудь по обыкновенным семейным делам, о которых и в самом семействе через неделю забывают. Вот еще примеры вприбавок к двум уже приведенным.

№ 155. — 1719 г., августа 16. Письмо государыни Екатерины Алексеевны к Петру I, поздравительное с праздником Успения богородицы и с уведомлением о здоровье.

Инаго ныне к доношению вашей милости ничего не имею, но паче всего всем сердцем желаем вам здравия, и дабы не усыпным вашим трудностям господь бог даровал вам покой и в сие время дела ваши скончил пожелаемым благополучием, с чем каждого часу вашу милость ожидаю. О себе доношу, что купно з детками и со внучаты нашими обретаемся, слава богу, в добром здоровье. При сем поздравляю вашу милость вчерашним праздником успения богородицы.

Августа 16-го дня.

№ 182. — 1723 г., июля 4. Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне, о прибытии своем с флотом в Ревель.

Катеринушка, друг мой сердешинкой, здравствуй!

Объявляю вам, что мы со флотом вчерашнего дни в здешней Бай [Ваау голландск. — залив, гавань. — Прим. издат.] прибыли благополучно [в] 8 часов по полудни, и стали на якорь; а сего моменту идем к городу. Могли-б быть и ранее, только великой был туман; чего для зело опасались кокшар [sic] и прочих мелей, того для немного парусов употребляли. За сим паки здравствуй и будь весела, а мы слава богу, веселы и здоровы.

Петр.

От Ревеля, в 4 д. июля 1723.

Теперь читатель пусть сам рассудит, в какой степени полезно или нужно было издавать эти письма. Некоторым покажутся, быть может, несколько любопытны орфографические неправильности. Но и с этой стороны издание решительно бесполезно для каждого, кто читал хоть какие-нибудь книги о Петре Великом. Ведь известно, что русская орфография не входила в воспитание тогдашних времен; она считалась нужною лишь для одних специалистов — типографских корректоров. Конечно, очень немногим из наших читателей нов тот факт, что Петр Великий писал очень неправильно, как и все его сподвижники, как и все тогдашние важные люди, за исключением разве двух-трех лиц из числа архиереев.

Если в переписке Екатерины и Петра из 221 письма 218 не имеют ничего важного или любопытного для истории, то, разумеется, еще меньше можно найти чего-нибудь такого в переписке царицы Прасковьи Федоровны с Петром I, Екатериною Алексеевною, герцогинею Мекленбургской Екатериною Ивановною, с принцессою Анною Леопольдовною, в переписке герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны и царевны Прасковьи Ивановны с их царственными родственниками, с князем и княгиниею

Меншиковыми и проч. Из 101 письма, помещенных во втором выпуске, только 16 заключают в себе хотя что-нибудь, кроме уведомлений о здоровье, а все остальные 85 имеют исключительно форменный характер поздравительных и доброжелательных писем, какими до сих пор постоянно обмениваются раза по два или по три в год родственники и люди близкие в патриархальных классах русского общества. Вот примеры:

№ 1. — 1716 г. февраля 3. Письмо царицы Прасковьи Федоровны к государыне Екатерине Алексеевне, с известием о здоровье царских детей и с просьбою не оставить своего милостью ее дочери.

Государыня моя матушка и невестушка,
царица Екатерина Алексеевна!

Здравствуй, свет мой, на множество лет. Доношу милости твоей: государь Петр Петрович, и государыня царевна Анна Петровна, и государыня царевна Елисавета Петровна, слава богу, в добром здоровье.

Пожалуй, государыня моя невестушка, прикажи нас уведомить писанием о вашем здравии, чего мы от сердца слышать желаем. Прошу вашей милости: содержи, свет мой, в своей милости мою дочку, какую я видела к ней твою милость, также слышу и заошную твою милость к ней.

А о себе доношу вашей милости: я з детьми своими до воли божией живы.

При сем остаюсь — сноха ваша Прасковья кланеюсь.

Февраля в 3 де[нь] 1716 году, из Санкт Питербурха.

Подлинник, за собственноручною подписью царицы, хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17: на обороте адрес: государыне моей невестушке царице Екатерине Алексеевне.

№ 51. — 1717 г., ноября 24. Письмо герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны к государыне Екатерине Алексеевне, поздравительное со днем ее тезоименитства.

Милостивая моя государыня тетушка и матушка,
царица Екатерина Алексеевна, здравствуй на множество лет.

Вашего величества милостивое писание, пущенное из Санкт-Петербурха 17-го прошедшего октября я исправно получила, за которое покорно благодарствую. И при сем моем благодарении нижайше поздравляю ваше величество, мою государыню матушку, нынешним торжественным днем вашего тезоименитства, и желаю от всего моего сердца: да подаст всевышний вашему величеству благополучно день сей торжествовать, тако ж и [в] впредь будущие лета таких же дней многих во всяком здравии достигнуть.

Покорнейше прошу ваше величество приказать меня своими милостивыми писаниями не оставить о состоянии дрожайшего здоровья государя моего дя-дюшка, тако ж и вашего величества, тако ж и о здравии государя моего братца и сестриц; о чем сердечно желаю ведать.

При сем и о себе вашему величеству доношу: за помощиею божиею с любезным моим супругом обретаюсь в добром здравии. Впрочем рекомендую себя во всегдашние вашего величества милости, и сократя сие, с покорным почтением пребываю.

Вашего величества

покорная услужница и племянница, Екатерина

Из Ростока, 24 ноября 1717 г.

Подлинник, за собственноручною подписью герцогини, хранится в государственном архиве министерства иностранных дел, в книге под № 17.

Таковы 85 из 101 письма 2-го выпуска. В 16 остальных есть прибавки к извещениям о добром здоровье и к пожеланиям доброго здоровья. В письмах 9, 10, 11 и 12 идет речь о пожаловании Крестовского острова в подарок царице Прасковье Федоровне. Особенно важного, впрочем, и тут не так много: в письме № 9 императрица Екатерина Алексеевна в 4 строках извещает царицу Прасковью Федоровну, что император отдает ей Крестовский остров; в письме № 10 царица Прасковья Федоровна в 4 с половиною строках извещает о том князя Меншикова и просит его сделать распоряжение о вводе ее во владение Крестовским островом; в письме № 11 князь Меншиков, в 12 строках, отвечает царице Прасковье Федоровне, что Крестовский остров пожалован был прежде ему и он завел там пильные мельницы и заводы; и что, вспомнив о том, император оставил Крестовский остров за ним, а царице Прасковье Федоровне пожаловал взамен его Петровский остров; в письме № 12 Меншиков сообщает царице Прасковье Федоровне то же самое во второй раз по случаю получения письма от императрицы Екатерины Алексеевны. В письмах №№ 21 и 22 царица Прасковья Федоровна зовет герцогиню Мекленбургскую Екатерину Ивановну и принцессу Анну Леопольдовну приехать в Россию повидаться с нею; в письме № 27 то же самое, с прибавлением советов герцогине Мекленбургской Екатерине Ивановне относительно ее беременности; в 4 других письмах находятся некоторые приказания тому или другому управляющему имением той или другой царевны, чтобы он распорядился присылкою хорошей провизии; наконец, вот и письма, в которых упоминается о предметах, относящихся до истории.

№ 36. Герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна, в 20 строках, просит императора Петра не отнимать своей милости у ее супруга герцога Мекленбургского и не слушать «несправедливых доношений на него от короля пруссакого», который имеет к ее супругу «непрямое сердце и великое лукавство». В письмах №№ 67 и 71 император Петр пишет в двух и в трех строках герцогине Мекленбургской, что по возможности желает помогать ее супругу, но обстоятельства или, по тогдашнему выражению, «конъюнктуры» еще мешают ему; а важнейшее из всех писем, № 76, мы помещаем вполне.

№ 76. — 1721 г., сентября 8. Письмо Петра I к герцогине Мекленбургской Екатерине Ивановне, *о заключении нейштадтского мира.*

«Любезнейшая государыня племянница!»

Объявляем вам, что всемилостивый бог двадцатиоднолетнюю войну благим и пожеланным миром благословить изволил, которой мир заключен августа в 30 день в Нейштате, и оным вам поздравляем. «И ныне свободни можем в вашем деле вам помогать, лишь б супруг ваш помятче поступал».

Петр.

Из Санкт-Петербурха, в 8 день сентября 1721 г.

Подлинник хранится в государственном архиве министерства иностранных дел. Собственноручные строки Петра I обозначены в настоящем издании вносными знаками.

В 1-м выпуске находятся целых три письма такой же или еще большей исторической важности. Читатель помнит, что мы в начале статьи обозрели лишь 218 писем из 221, — а эти три оставили тогда в стороне для подробнейшего знакомства с ними. Вот они.

№ 9. — 1708 г., августа 31. Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне и Анисье Кириловне Толстой, о битве со шведами.

†

Матка и тетка здравствуйте!

Письмо от вас я получил, на которое не подивите, что долго не отвечал; понеже пред очми непрерыванно непрерывные гости, на которых уже нам скучило смотреть; того ради мы вчерашнего утра резервувались и на правое крыло карала шведского с осмью баталионами напали, и по двочасном огню одного с помошнисию божиею с поля збили, знамена и протчая побрали. Правда, что я как стал [в подл. итал.] служить, такой игрушки не видал; аднакожь сей танец вчахъ [в очахъ?] горячего Карлуса изрядно стонцовали; аднакожь больше вьсех попотел наш полк. Отдайте поклон книне и протчим, и о сем объявите.

Piter

Из лагеру от реки Черной Маплы, в 31 д. августа 1708 г.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; письмо было свернуто пакетом и запечатано красною сургучною печатью с шифром: Р. А., наверху корона. На пакете надпись: † Тетушке Анисье Кириловне и протчим. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

№ 24. — Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне, о действиц целебных вод на здоровье государя.

†

Катеринушка, друг мой, здравствуй!

А мы, слава богу, здоровы толко с воды брюхо одула, для того так поят, как лошадей; и инова за нами дела здесь нет, толко что... Письмо твое я чрез Сафонова получил, которое прочитая горазда задумался. Пишешь ты, яко бы для лекарства, чтоб я нескоро к тебе приехал, а делам знатно сыскала ково-нибудь вытнее * меня; пожалуй отпиши: из наших ли или из таруннчан? а болше чаю: из тарунчан, что хочешь отомстим **, что я пред двумя леты занял. Так-та вы свьвины дочки делаете над стариками! Кнез-папе и четверной лапушке *** и протчим отдай поклон.

Петр

Из Карльсбада, в 19 д. сентября 1711.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; был вложен в особый пакет и запечатан красною сургучною печатью с шифром: Р. А., наверху корона. На пакете надпись: † Царице Екатерине Алексеевне. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

№ 98. — 1717 г., июня 18. Письмо Петра I к государыне Екатерине Алексеевне, о приезде своем в Спа для лечения водами.

* В ы т н ы й — рослый, здоровый (см. Опыт обл. великорус. словаря, стр. 34). — Примеч. изд.

** Чт ы а й: отомстить. — Примеч. изд.

*** Слова «и четверной лапушке» приписаны сбоку. — Примеч. изд.

Катеринушка, друг мой сердешнишкой, здравствуй!

Инаго объявить отсель нечего, только что мы сюды приехали вчерась благополучно; а понеже во вѣремя пития вод домашней забавы дохторы употреблять заперещают, того ради я матресу свою отпустил к вам; ибо не мог бы удержатца, ежелиб при мне была.

Петр

Из Шпа, в 18 д. июня 1717.

Подлинник писан собственною рукою Петра I; письмо было запечатано красною сургучною печатью с шифром: Р. А. На обороте надпись: † Ее величеству государыне царице Екатерине Алексеевне. Хранится в государственном архиве МИД в книге под № 17.

Из 322 писем, напечатанных в двух первых выпусках, два или три любопытны; еще писем пять или шесть могли бы быть несколько интересны как образцы языка, которым писали супруга Петра, его племянницы и сестры. Но образцов этих очень много напечатано и давным-давно, и в недавних книгах, стало быть, и с этой стороны вновь издавать их не было пользы. Кто из людей, читавших не только Голикова или г. Устрялова, но хотя бы какой-нибудь русский журнал, не знаком с слогом Петра, Екатерины I и других лиц, письма которых собраны теперь? Кому покажется интересна даже орфографическая неправильность этих писем? — разве людям, никогда ничего не читавшим. А разве для таких людей предпринимаются ученые издания исторических документов? Вероятно, они делаются для специалистов или для людей, хоть несколько занимающихся историей. Таких людей тогдашняя манера писем не удивит, — они давно знакомы с ней, и ничего не только нового, но даже хотя бы сколько-нибудь полезного для какой-нибудь справки не отыщут они в изданных теперь письмах. Если бы московский пожар 1812 года и петербургское наводнение 1824 года истребили все документы и памятники петровского времени, кроме этих писем, если б до начатого теперь издания не известно было никому на свете, что существовал Петр Великий, что супруга его носила имя Екатерины Алексеевны, что он брал несколько раз курс минеральных вод, что он сражался со шведами и любил употреблять в письмах шуточные выражения, издание имело бы безмерную драгоценность; к сожалению, все эти факты очень хорошо и подробно известны.

Если комиссия будет продолжать свое издание по такому плану, — если она будет собирать и печатать все коротенькие семейные записочки, в которых не говорится ровно ни о чем, кроме поздравлений с праздниками, извещений о добром здоровье и т. д., если она будет продолжать так, то наберется у ней 500 выпусков с 70 тысячами писем прежде, чем случится ей напечатать хотя одну страницу, сколько-нибудь важную для исследователя. Мы думаем, что назначение комиссии — заниматься

изданием не этих писем, через месяц утрачивавших всякое значение даже для лиц, обменивавшихся ими. Неужели не осталось, например, от Петра Великого писем, более важных для историка? Мы советовали бы комиссии подумать об этом. Теперь она понапрасну тратит бумагу, тратит труд, а что важнее всего — тратит время. Ведь пока она работает, задача считается исполняющеюся, и нет другой комиссии для того же дела; а если дело исполняется таким образом, то все равно, что оно не исполняется.

< ИЗ № 12 «СОВРЕМЕННОГО» >

Характеристики из сравнительного землеописания и этнографии, собранные и приспособленные для домашнего и школьного образования. Вильгельма Пютца. Часть первая, Выпуск первый. Перевод с немецкого. М. Тихонозич. Москва. 1861 г.

Книга Пютца составлена в том же духе, как сборник Грубе¹, о котором мы уже говорили в октябрьской книжке, но отличается от него большею полнотою и систематичностью. Вот как сам автор объясняет план и цель своей географической хрестоматии.

Преподаватель, имеющий под рукою весьма ограниченное число сочинений по части научного землеописания, может почерпнуть отсюда материал для более обширного преподавания предмета, кратко изложенного в учебнике; с другой стороны, ученик найдет здесь: оживленное дополнение своих уроков в форме, доступной его пониманию. Так как главная цель нашего сборника — основательное ознакомление с предметом, а не летучие беседы, то он должен отличаться от множества появившихся в последнее время «географических характеристик» и тому подобных сочинений более научною формою отдельных статей, большею целесообразностью в выборе их и известною полнотою излагаемых предметов. Для достижения этой цели оказалось необходимым сделать новый выбор из оригинальных статей, а также выдвинуть на первый план сравнительное описание, которое в географии, так же как и в других науках, приводит к столь богатым результатам. Излишне было бы упомянуть, что мы выбрали преимущественно такие отрывки, которые по возможности соединяли в себе научное достоинство с увлекательным изложением. Даже поверхностное сравнение лучших географических книг для чтения с нашим сборником покажет, как мало эти книги, при всей их многочисленности, годились для чтения. Поэтому издатель, выбирая отдельные отрывки из сочинений по этой части, надеется по мере сил содействовать большему распространению этих сочинений. Издатель позволил себе двоякого рода изменения в текстах оригинала. Первое и важнейшее состоит в весьма значительных иногда сокращениях, сделанных частью для того, чтобы достигнуть известного единства в изложении, частью же для того, чтобы в сжатой форме, но с известною полнотою изобразить главнейшие явления в отдельных странах; там, где для этой цели недостаточно было простых пропусков, издатель принял на себя обработку некоторых отрывков и особенно отметил эти статьи. Кроме того, само собою разумеется, что в книге, назначенной для учащегося и преимущественно зрелого юношества, устранено все сомнительное в религиозном, общественном и политическом отношении, вследствие чего она может быть весьма полезна для ученических библиотек высших учебных заведений.

Другой род изменений, несравненно реже встречающийся, состоит в исправлении устаревших показаний, и не одних только статистических, но и касающихся описаний городов и т. д. При издании первого тома собственные наблюдения, вынесенные издателем из неоднократных ежегодных путешествий во внутреннюю Европу и близлежащие земли, много облегчили проверку избранных им описаний. Второй том, содержащий в себе почти в таком же объеме описание отдельных стран Европы и других частей света, заключит собою этот ряд характеристик.

Вот содержание первого выпуска первой части:

I. *Общая часть.* Формы земной поверхности и их влияние на человека. Значение рек для культуры. Земные поясы и их влияние на органическую природу, в особенности на природу человека. II. *Океанография.* Сравнение трех важнейших океанов: Атлантического, Великого и Индийского. Атлантический океан как посредник между Старым и Новым Светом. Великий океан и значение его в будущем. Средиземное море. Черное море. Сравнение Балтийского моря (как северного Средиземного моря) с (южным) Средиземным морем. III. *Землеописание и этнография.* Сравнение Старого и Нового света. Географическое положение материков относительно всей земной поверхности. Горизонтальное членение отдельных частей света и влияние их на культуру. Породы людей. А. Европа. Положение Европы и ее мировое значение. Превосходство Европы над другими частями света. Строеие гор Европы в сравнении с другими частями света. Этнографическое, церковное и политическое деление Европы на три части. а) *Южная Европа.* Сравнение трех южных полуостровов Европы. аа) *Греческий полуостров* (в более обширном значении). Образование суши греческого полуострова. Османы. Босфор и Дарданеллы. Положение и окрестность Константинополя. Положение Греции и естественное свойство по отношению к истории ее. Греция в прежнее время и теперь. Небо и воздух Греции. Физический, духовный и нравственный характер древних эллинов. Жители нынешнего Греческого королевства: албанцы и эллины. Северная Греция. Средняя Греция (собственная Эллада или Ливадия). Южная Греция (Пелопоннес или Морей). Олимпия. Греческие острова. Черногория (Монтенегро). бб) *Итальянский полуостров.* Италия относительно других земель. Природа Италии вообще. Растительность Италии. Итальянцы. Северная Италия. Долина Шамуни в Савойе. Турин. Жители Ломбардии. Милан. Венеция. Генуя. Ницца. Тоскана. Долина Арно и тосканские мареммы. Флоренция. Ливорно. Римская Кампанья. Рим, дважды владыка мира, в сравнении с другими цивилизованными странами. Церковь Петра и Ватикан. Тиволи и его окрестность. Понтийские болота. Области Неаполитанского королевства. Счастливая Кампанья. Неаполь (в сравнении с Римом). Неаполитанцы. Везувий. Исхиа и Капри. Помпея. Сицилия. Этна. Палермо.

В остальной половине первого и во втором томе столь же подробно и систематически собраны статьи, изображающие характер прочих земель Европы и других частей земного шара. Книга Пютца должна принести большую пользу преподаванию географии.